

«Свобода, равенство, братство, достоинство...

Нет корней более глубоких

и при этом более хрупких».

Р **Г** **А** **Р** **И** Н



к о р н и н е б а

РОМАН, КОТОРЫЙ ЖДАЛИ В РОССИИ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

Ромен Гари
Корни неба

«ЭКСМО»

1956

УДК 821.111-31
ББК 84(4Фра)-44

Гари Р.

Корни неба / Р. Гари — «Эксмо», 1956

ISBN 978-5-04-088664-7

Герой романа Морель приехал в Чад, чтобы остановить массовое истребление слонов. Каждого, кто ему встречается на пути, он просит подписать петицию. Кто-то считает его безумцем, кто-то усматривает в его одержимости корыстные мотивы. Различные политические силы хотят переманить Мореля на свою сторону. И под эгидой защиты природы добиться своих не слишком благородных целей. Но этот странный человек с потертым кожаным портфелем только и делает, что говорит о слонах, о том, как важно их сохранить.

УДК 821.111-31
ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-04-088664-7

© Гари Р., 1956
© Эксмо, 1956

Содержание

От автора	6
Часть первая	8
I	8
II	10
III	13
IV	16
V	19
VI	22
VII	25
VIII	27
IX	32
X	35
XI	37
XII	41
XIII	47
XIV	52
XV	59
XVI	63
XVII	67
XVIII	70
Конец ознакомительного фрагмента.	71

Ромен Гари

Корни

Romain Gary

LES RACINES DU CIEL

© Editions GALLIMARD, Paris, 1956

© Е. Голышева, перевод на русский язык, 2018

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Э»», 2018

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет за собой уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Ромен Гари – один из самых издаваемых французских писателей в мире и мастер мистификации. Он единственный, кто дважды получил Гонкуровскую премию – сначала за роман, который вы держите в руках, а после, укрывшись псевдонимом Эмиль Ажар, за роман «Вся жизнь впереди». Все его произведения вдохновляют читателей, согревают от жестокости мира и одиночества. Все его герои – безумцы, которые верят в справедливость, ценность человеческой личности и безграничную любовь.

«Корни неба» – самый известный, пронзительный и яркий роман Романа Гари, который не издавался в России двадцать лет. И сегодня это произведение о спасении слонов в Африке актуально как никогда. Что олицетворяют слоны? Достоинство, мужество, верность, силу. Может, поэтому их истребляют?

От автора

Событий, описанных в этом романе, в действительности никогда не происходило. И персонажей, изображенных в нем, никогда не существовало.

Я выбрал местом действия моей истории Французскую Экваториальную Африку, потому что я там жил и тем самым мог избежать всякого сходства с подлинной местностью, людьми и обстоятельствами.

А может, потому что я не забыл, как именно ФЭА первой откликнулась на знаменитый призыв бороться против бесправия и отчаяния, и что отказ моего героя подчиниться человеческой слабости и жестокому закону, под которым мы живем, отозвался в моем сознании другими легендарными временами...

Тема моей книги отражает реальный факт: истребление великой африканской фауны, и особенно слонов...

Что же касается более общей проблемы защиты природы, то в ней, естественно, нет ничего специально африканского; об этом мы давненько вопим не своим голосом.

А тем, кого удивит моя забота о красоте нашей земли, кто, быть может, сочтет эту заботу «претенциозной» или чрезмерной в ту пору, когда мы должны защищать само достоинство человечества, которому грозят самые древние силы зла, я отвечаю, что верю в нашу душевную щедрость, — она позволит нам отяготить себя заботой и о слонах, как бы ни трудна была наша борьба и как бы ни жестоки были условия поступательного движения в будущее.

Люди всегда отдавали самое дорогое, чтобы сберечь в жизни хоть какую-то ее красоту.

Какую-то красоту ее природы...

И наконец, так как в романе попутно затронут национальный вопрос, то для тех, кто желал бы знать точку зрения автора на это, я хочу сказать следующее: в моей книге отражен важнейший для всех нас вопрос о защите природы, и задача эта настолько громадна по своим последствиям в эпоху водородной бомбы, нищеты, поработленного сознания, рака и целей, которые оправдывают средства, что только могучее усилие нашего гения и то людское братство, на которое мы способны, могут эту задачу решить. Я, во всяком случае, не понимаю, как можно возложить ответственность за это благородное дело на тех, кто черпает свою политическую силу из первобытных источников расовой и религиозной ненависти или же из пламенной мистики. История нашего века доказала с кровавой неопровержимостью — в моей семье из восьми человек погибло шестеро, а из двухсот моих товарищей, летчиков 1940 года, в живых осталось пятеро, — что националистические принципы всегда утверждаются могильщиками свободы, что никакие права человеческой личности не соблюдаются на триумфальных дорогах «строителей тысячелетнего царства», гениальных «отцов народов» и «меча Ислама» и что, применив кое-какую сноровку, обеспечив себя для начала крепкой партией, потом крепкой полицией и хотя бы толикой трусости у противника, не так уж трудно расправиться с народом во имя права народов распоряжаться своей судьбой.

Я верую в личную свободу, в терпимость и в права человека. Быть может, и тут речь идет об анахронизме — о вышедших из моды слонах, громоздком пережитке ушедшей геологической эпохи, — о гуманизме. Я так не думаю, потому что верю в прогресс, а истинный прогресс неотъемлем от условий, необходимых для его движения. Возможно, что я обманываюсь и моя вера — лишь простая уловка инстинкта самосохранения. Тогда я надеюсь погибнуть вместе с ними. Но не раньше чем попытаюсь их защитить всеми силами от разгула тоталитаризма, националистов, расистов, мистиков и маньяков. Никакая ложь,

никакая теория, никакое словоблудие, никакая идеологическая маскировка не заставят меня забыть их простодушного величия.

Я хочу поблагодарить Клода Эттье де Буаламбера за оказанную им техническую помощь, а также за то, что он, будучи президентом Международного комитета по охоте, не переставал поощрять фотоохоту и бороться со злоупотреблениями тех, кто находит психологическое удовлетворение в охотничьих трофеях. Я приношу свою благодарность также профессору де Хоорну, докторам Рене Ажиду, Конраду Сарториусу и всем, кто так дружески и с таким постоянством поддерживал меня, прежде всего Жану де Липковски, Ли Гудмэну, Роже Сент-Обэну и Анри Оппно, которому я посвящаю свою книгу.

Часть первая

I

Дорога с рассвета шла по холму, сквозь заросли бамбука и трав, где и лошадь, и всадник зачастую совсем пропадали из виду; потом снова появлялись белый шлем иезуита, крупный костистый нос, мужественный насмешливый рот и пронзительные глаза, которым куда привычнее было созерцать безбрежные просторы, чем страницы требника. Будучи высок ростом, он плохо умещался на пони по кличке Кирди; ноги, покрытые сутаной, упирались в слишком короткие стремена и были согнуты под острым углом – всадник порою чуть не вываливался из седла, когда резко поворачивал свой конкистадорский профиль, чтобы полюбоваться окружающим пейзажем: горы Уле производили на него какое-то особое, радостное впечатление. Три дня назад он оставил раскопки, которые возглавлял по поручению французского и бельгийского институтов палеонтологии, и, проехав часть пути в джипе, вторые сутки подряд трясся в сопровождении проводника верхом через заросли, направляясь к тому месту, где должен был находиться Сен-Дени. Проводника он не видел с самого утра, но тропа шла прямо, и временами впереди слышались шелест травы и стук деревянных башмаков. То и дело его одолевала дремота, нагоняя дурное настроение: он не любил вспоминать о своих семидесяти годах, но после семи часов, проведенных в седле, уже не мог справиться с некоторой приятной расслабленностью, которую осуждали совесть духовника и разум ученого. Иногда он останавливался и поджидал слугу с лошастью, которая везла ящик с кое-какими интересными обломками – результатом последних раскопок – и рукописями – с ними он не расставался никогда. Дорога поднималась не очень круто; у холмов были мягкие склоны, порой они начинали шевелиться, оживать – там двигались слоны. Небо, как всегда, было непроницаемым, дымчатым, светящимся, затянутым испарениями африканской земли. Даже птицы, казалось, могли в нем заблудиться. Тропа пошла вверх, и на одном из поворотов иезуиту открылась равнина Ого, поросшая густой курчавой растительностью, которая ему не нравилась; она так же отличалась от величественных лесов экватора, как грубая щетина от пышной шевелюры. Он рассчитывал добраться до места в полдень, но лишь к двум часам дня поднялся на вершину холма. Перед палаткой начальника он увидел слугу, который, присев у догоравшего костра, чистил котелки. Иезуит сунул голову в палатку, где на походной койке спал Сен-Дени. Гость не стал того будить, подождал, пока и для него поставили палатку, привел себя в порядок, выпил чаю и немного поспал. Проснулся он с ощущением усталости во всем теле. Полежал какое-то время, вытянувшись на спине, подумал, как грустно, что ты так стар, что времени у тебя осталось немного и надо довольствоваться теми знаниями, которые ты успел приобрести. Наконец он выбрался наружу и нашел Сен-Дени, который курил трубку и глядел на холмы, еще освещенные солнцем, но уже словно бы тронутые неким предчувствием. Сен-Дени был невысок ростом и лыс, щеки его заросли косматой бородой, а глаза, занимавшие, казалось, чуть не все изможденное лицо с высокими скулами, были прикрыты очками в стальной оправе; узкие, сутулые плечи говорили о сидячем образе жизни, хотя их обладатель и являлся последним хранителем огромных африканских стад. Мужчины немного поболтали об общих знакомых, обменялись слухами насчет войны и мира, потом Сен-Дени расспросил отца Тассена о работе; его особенно интересовало, правда ли, что в связи с последними открытиями в Родезии можно утверждать, будто Африка действительно колыбель человечества. Наконец иезуит задал свой вопрос. Сен-Дени словно и не удивился, что выдающийся член Святейшего Братства в возрасте семидесяти лет, имеющий среди миссионеров репутацию человека, гораздо более занятого наукой о происхождении человека,

чем спасением души, проехал два дня верхом, чтобы расспросить о девушке, чья красота и молодость, казалось, не должны интересовать ученого, привыкшего вести счет на миллионы лет и целые геологические эпохи. Поэтому отвечал он откровенно, со все возрастающим жаром и странным чувством облегчения. Потом он не раз спрашивал себя, не приехал ли отец Тассен только для того, чтобы помочь ему скинуть бремя одиночества и воспоминаний, которые так его угнетали. Иезуит слушал молча, с какой-то отчужденной вежливостью, ни разу не пытаясь помочь утешениями, которыми так славилась его религия. Разговор затянулся до ночи, но Сен-Дени продолжал свой рассказ, прервавшись лишь однажды, чтобы приказать слуге Н'Голе зажечь костер. Пламя сразу же прогнало с неба последние проблески света, и им пришлось отодвинуться от огня, чтобы не лишиться общества холмов и звезд.

II

– Нет, я не могу утверждать, что хорошо ее знал, но много о ней думал, а это тоже способ общения. Она не была со мной откровенна и даже честна: из-за нее меня лишили управления округом, которым я так дорожил, и поручили надзор за этими громадными стадами африканских животных. Мои наивность и доверчивость доказывали, что я куда больше приспособлен управлять животными, чем людьми. Я не жалею, наоборот, считаю, что со мной поступили даже мягко; меня ведь могли просто-напросто выслать из Африки, а в моем возрасте такую встряску и не переживешь. Что же касается Мореля... О нем уже все сказано. Думаю, что этот человек в своем одиночестве зашел дальше других, а это, между прочим, большое достижение, ибо, если уж побивать рекорды одиночества, не каждый из нас откроет в себе чемпиона. Он часто приходит ко мне в бессонные ночи – сердитый, с тремя глубокими складками на высоком упрямом лбу под взъерошенными волосами, держа свой знаменитый портфель, набитый петициями и воззваниями в защиту природы, с которым не расставался. Я часто слышу его голос с неожиданными для образованного человека простонародными нотками: «Все очень просто. Собак нам уже мало. Люди ощущают себя до смешного одинокими, им нужно общение, им нужно нечто крупное, могучее, на что можно положиться, нечто и в самом деле обладающее стойкостью. Собак людям уже мало, им нужны слоны. Поэтому я и не желаю, чтобы их трогали». Он заявляет это совершенно серьезно, стукнув по прикладу карабина, словно чтобы придать больше весу своим словам. О Мореле говорили, будто его приводила в отчаяние людская порода и он был вынужден защищать свою чрезмерную ранимость с оружием в руках. Говорили без шуток, что он – анархист, который решил пойти дальше других, порвать не только с обществом, но и с человеческой породой вообще, «волю к полному разрыву» и «к выходу из человеческой особи» – вот что эти господа ему чаще всего приписывали. Более того, всей этой чепухи им было мало, я нашел в Форт-Ашамбо старые журналы с совсем уж глубокомысленным объяснением. Оказывается, слоны, которых защищал Морель, всего-навсего символы и даже символы поэтические, а этот бедолага мечтал о чем-то вроде Исторического Заповедника, похожего на заповедники в Африке, где запрещена охота и где все наши духовные ценности, нелепые, даже отчасти уродливые и уже нежизнеспособные, так же как наши древние права человека – эти пережитки ушедшей геологической эпохи, – будут сохранены во всей своей красе как духовное наследие нашим правнукам.

Сен-Дени беззвучно рассмеялся и покачал головой:

– Что тут сказать. Мне тоже не все понятно, но придумать такое!.. Я вообще больше руководствуюсь сердцем, чем разумом, такая у меня натура, – и думаю иногда, что так легче что-либо понять. Поэтому не ждите от меня чересчур мудрых рассуждений. Могу лишь предложить кое-какие обломки, в том числе и себя. А в общем полагаюсь на вас – вы ведь привыкли иметь дело с раскопками, так сказать, восстанавливать истину из осколков. Говорят, будто в своих сочинениях вы предрекаете эволюцию нашей породы к совершенной духовности и всеобщей любви и что якобы этого можно достичь очень быстро, – полагаю, что на языке палеонтологии, который не вполне соответствует языку человеческих страданий, слово «быстро» означает какие-нибудь ничтожные сотни тысячелетий и что вы придаете старому христианскому понятию спасения смысл биологических мутаций. Признаюсь, мне трудно представить, какое место займет в такой грандиозной перспективе бедная девушка, помогавшая утолять далеко не духовные потребности. Ну ладно, допустим, что сойдет и Минна, я ведь знаю, какую скромную, но необходимую роль играют в Священном Писании блудницы, но какое место в ваших теориях и ваших пристрастиях может занять такой человек, как Хабиб, какой смысл можно придать тому беззвучному смеху, от которого

столько раз на дню и без видимой причины трясется его черная борода, когда, растянувшись в шезлонге «Чадьена», натянув морскую фуражку, беспрерывно обмахиваясь бумажным веером, украшенным пурпурной маркой американского лимонада, и жуя мокрую погасшую сигару, он смотрит на искрящиеся воды Логоне? Надо сказать, что, если вы ехали сюда, чтобы узнать причину этого вселенского смеха, ваши два дня верхом пропали не совсем даром. Я могу предложить свое объяснение. Знаете, я много об этом думал. Мне даже приходилось просыпаться в палатке, одному как перст, глядя на самый прекрасный пейзаж в мире – я говорю о ночном африканском небе, – и спрашивать себя, что за причина может заставить такого негодяя, как Хабиб, беззаботно и весело смеяться. И пришел к выводу, что этот наш ливанец – человек на редкость хорошо приспособленный к жизни, что взрывы утробного смеха означают: он целиком с этой жизнью в ладу, их взаимопонимание и полное, нерушимое согласие – просто счастье, да и только. Из них получилась прекрасная пара. Вы, пожалуй, сделаете тот же вывод, что и кое-кто из моих молодых сослуживцев: Сен-Дени превратился в старого спесивца, стал ото всех обособившимся, сварливым злыднем – «он уже не наш»; там ему и место, среди диких зверей, в заповедниках, куда его благоразумно и заботливо сослало начальство. И все же трудно было не поражаться тому здоровью и довольству, которые излучал Хабиб, его геркулесовой силе, земной устойчивости, хитрому подмаргиванию, не предназначавшемуся никому в особенности, обращенному, казалось, к самой жизни, а помня, до чего удачлива была карьера этого подлеца, нельзя было не сделать кое-каких выводов. Вы же, несомненно, знали его не хуже меня, когда он заправлял делами отеля «Чадьен» в Форт-Лами вместе со своим молодым подопечным де Врисом, после того как это заведение во второй или третий раз перешло из рук в руки, – раньше дела там шли не блестяще. По крайней мере, пока не появились господа Хабиб и де Врис, которые открыли бар, выписали барменшу, устроили танцевальную площадку на террасе над рекой и стали щеголять всеми признаками растущего благосостояния, истинные источники которого обнаружили гораздо позже. Де Врис делами отеля не занимался. В Форт-Лами его видели редко. Большую часть времени он проводил на охоте. Когда Хабиба расспрашивали, куда делся его компаньон, он беззвучно смеялся, а потом, вынув изо рта сигару, делал широкий взмах рукой в сторону реки, голенастых пеликанов, которые рассаживались в сумерки на песчаных отмелях, и кайманов, подражавших древесным стволам на берегу Камеруна.

«Что поделаешь, милый мальчик не очень-то в ладу с природой, – он преследует ее повсюду. Лучший стрелок в здешних местах. Показал себя в Иностранном легионе, а теперь должен довольствоваться более скромной дичью. Настоящий спортсмен в полном смысле слова», – Хабиб всегда говорил о своем компаньоне со смесью восхищения и издевки, а иногда даже с ненавистью. Нельзя было не заметить, что дружба между этими людьми скорее объясняется какой-то тайной взаимосвязью, независимой от их воли. Я видел де Вриса всего раз, вернее, встретил на дороге возле Форт-Ашамбо, когда он возвращался с охоты в джипе, который вел сам и за которым ехал грузовичок. Прямой и тощий как жердь, с волнистыми светлыми волосами и довольно красивым лицом прусского типа. Он посмотрел на меня своими светло-голубыми глазами, взгляд которых показался мне, несмотря на мимолетность встречи, просто поразительным. Де Врис заливал в бак бензин из канистры и, когда я подъехал, уже кончал заправку. Помню также, что на коленях он держал ружье, отличавшееся удивительной красотой: приклад был инкрустирован серебром. Он тронулся с места, не ответив на мое приветствие, бросил грузовичок на произвол судьбы, а я остался поболтать с шофером-сара, который объяснил, что они возвращаются из похода в район Ганды и что «хозяин охотится все время, даже когда дождь». Движимый непонятным любопытством, я приподнял брезент грузовичка. И надо сказать, был вознагражден. Грузовичок был буквально набит трофеями: бивнями, хвостами, головами и шкурами. Но самым удивительным были птицы. Там были пернатые всех цветов и размеров. А красавчик де Врис явно

не собирал коллекции для музеев, потому что большинство этих птиц были изрешечены дробью до неузнаваемости и уж во всяком случае не годились для лицезрения. Наши правила охоты таковы, каковы они есть, не мне их защищать, но они не разрешают подобное варварство. Я порасспросил шофера, который с гордостью мне рассказал, что «хозяин охотится для развлечения». Я не выношу местной тарабарщины, – это, может, самое постыдное, что есть у нас в Африке, поэтому заговорил с ним на языке сара и через четверть часа столько узнал о спортивных подвигах де Вриса, что, вернувшись в Форт-Лами, влепил тому колоссальный штраф, хотя это, конечно, ничего не дало: есть люди, которые, как вы сами знаете, готовы заплатить любую цену, чтобы потешить душу. К тому же я закатил скандал на террасе «Чадьена» покровителю юнца и попросил умерить пыл голландца. Хабиб от души посмеялся. «Чего же вы хотите, милый? Благородная натура, насущная потребность чистоты, отсюда яростное противоборство с природой, иначе и быть не может. У него это вроде постоянного сведения счетов. Он член ряда охотничьих обществ, неоднократно получал награды, великий зверолов перед Господом, который, к счастью, в хорошем укрытии, не то бы... – Он развеселился. – Поэтому де Врису и приходится довольствоваться тем, что под рукой, всякой мелочью – гиппопотамами, слонами, птичками. По-настоящему крупная дичь на глаза не попадает, предусмотрительно прячется. А жаль, хорошо бы в нее пальнуть. Бедному мальчику, верно, по ночам это даже снится. Выпейте лимонада, я угощаю». Он продолжал, как всегда, обмахиваться веером, развалившись в шезлонге, и я оставил его в покое, он ведь у себя дома. Он бросил вдогонку: «И не стесняйтесь насчет штрафа – что положено, то положено. Дела идут неплохо».

Они и в самом деле шли неплохо.

Причина процветания, удивлявшего тех, кто знал, какие денежные затруднения испытывали прежние владельцы «Чадьена», открылась самым неожиданным образом. К востоку от Ого попал в аварию грузовик, набитый ящиками с лимонадом; произошел взрыв, который трудно было объяснить содержанием в лимонаде газа. Выяснилось, что господу Хабиб и де Врис принимали деятельное участие в контрабанде оружием, которое доставляли древними путями работорговцев в глубь Африки с нескольких хорошо известных баз. Вы же знаете о той подспудной борьбе, которая ведется вокруг нашего древнего материка: ислам все больше давит на первобытные племена, перенаселенная Азия постепенно вынашивает мечту об экспансии в Африку, и урок бесплодной войны, которую англичане вот уже три года ведут в Кении, ни для кого не прошел даром. Хабиб расположился в этой обстановке еще удобнее, чем в своем шезлонге, и справка о его прошлых судимостях, которую наконец-то догадались затребовать, оказалась просто гимном этому подлому миру. Но к тому времени он уже сбежал вместе со своим красавчиком-компаньоном, этим врагом природы, без сомнения предупрежденный одним из тех секретных посланий, которые почему-то всегда вовремя приходят в Африке, хотя ничто никогда не выдает спешки или тревоги на непроницаемых лицах наших мечтательных и ласковых арабских купцов, сидящих в прохладной полутьме своих лавчонок так, словно их вовсе не касаются треволнения взбудораженного мира. Словом, эти двое исчезли, чтобы снова появиться – что, если хорошенько подумать, естественно – в ту минуту, когда звезда Мореля достигла своего апогея и они могли воспользоваться последними лучами той земной славы, которая так подходила к их типу красоты.

III

– Однако именно Хабиб, как только приобрел «Чадьен», превратив его при помощи неона в «кафе-бар-дансинг», задумал оживить несколько унылую атмосферу этого заведения – уныние особенно ощущалось на террасе, над берегом Камеруна, словно ощеренным от безлюдья, под бескрайним небом, которое словно было задумано для каких-то доисторических животных, – именно он задумал оживить чересчур тоскливую атмосферу женским присутствием. Он загодя сообщил о своем намерении посетителям и твердил об этом всякий раз, когда присаживался к их столикам, обмахиваясь своим рекламным веером, с которым никогда не расставался – веер выглядел особенно игриво в его громадной ручище, – он садился, похлопывал по плечу, словно желал ободрить, призывал еще немножко потерпеть, он ведь о нас печется, да, он кое-кого пригласит, это входит в его планы реорганизации, но имейте в виду, не кокотку, а просто милую девушку, он отлично понимает, что его приятелям, особенно тем, кому надо протопать пятьсот километров, чтобы выйти из глуши, надо еда сидеть в одиночестве, когда хочется промочить горло, им нужно общество. Он тяжело поднимался и повторял свои посулы за другим столиком. Надо признать, что ему удалось создать атмосферу любопытства и ожидания – всеми овладел интерес, не без оттенка жалости и насмешки, что же за девушка попадет в эту ловушку, но я уверен, что среди нас были бедняги – видите, я от вас ничего не скрываю, – которые тайком уже мечтали о ней. Вот почему Минна стала темой разговоров в самых затерянных уголках колонии Чад задолго до своего появления, а за это время кое-кто из нас снова мог убедиться, что годы, одиноко проведенные в джунглях, не могут убить весьма живучие потребности и что легче перепахать участок площадью в сто гектаров в разгар сезона дождей, чем проникнуть в тайные уголки нашего воображения. И когда она однажды вышла из самолета, с чемоданом, в берете, нейлоновых чулках, привлекая взгляд высоким ростом и незаурядным лицом, если не обращать внимания на его встревоженное выражение, понятное в этих обстоятельствах, можно с полным правом сказать, что ее ждали. Хабиб, как видно, написал в Тунис своему другу, содержанию ночного ресторана, где Минна исполняла стриптиз. Он точно объяснил, что ему требуется: хорошо сложенная девушка, со всем, что надо, там, где полагается, предпочтительно блондинка, которая может управляться с баром, петь, а главное, быть приветливой с клиентами, – ну да, прежде всего тут требовалась услужливость, он не хочет никаких неприятностей, вот что самое главное. Но и проститутка не подходит – не такое у него заведение, ему нужна просто девушка, ласковая с мужчиной, которого он, Хабиб, ей порекомендует. Хозяин тунисского кабаре, заметив, что Минна – блондинка, и вспомнив, что она – немка и документы ее не совсем в порядке, а это может служить залогом покорности, передал ей предложение Хабиба.

«И вы его тут же приняли?», – Такой вопрос ей задал во время следствия комендант Шелшер, уже после бегства Хабиба и де Вриса, когда открылись кое-какие подробности их деятельности. Он вызвал Минну к себе, чтобы самому разобраться в тех обвинениях, которые выдвинул против нее Орсини. Следствие вела полиция, но военные власти давно беспокоило появление на границе с Ливией отрядов отлично вооруженных феллахов, поэтому связи Хабиба в Тунисе и других местах заслуживали особого внимания. Мало кто так хорошо знал пограничные районы, как Шелшер, который пятнадцать лет объезжал пустыню на верблюдах во главе отряда французских колониальных войск, от Сахары до Зиндера и от Чада до Тибести; все кочевые племена, заведя на горизонте песчаные вихри, поднятые верблюдами, приветствовали его издали. Вот уже год, как впервые в своей жизни он занимался сидячей работой – губернатор Чада, встревоженный контрабандным потоком современного оружия, который просто хлынул на всю территорию колонии, проникнув до

самых глухих уголков джунглей, назначил его советником по особым делам. Минна вошла в кабинет коменданта под конвоем двух стрелков, совершенно обезумевшая от допроса, который ей учинили в полицейском управлении, уверенная, что ее вот-вот выставят с единственного клочка земли, к которому она на удивление так привязалась.

«Мне тут хорошо, понимаете! – кричала она, рыдая, Шелшеру с таким немецким выговором, от которого непроизвольно сводило скулы. – Когда я по утрам отворяю окно и вижу, как тысячи птиц стоят на песчаных отмелях Логоне, я счастлива! Ничего другого мне не надо... Мне тут хорошо, да и куда же я денусь?»

Шелшеру было не свойственно предаваться ироническим размышлениям перед лицом чужого горя, каково бы то ни было, однако на этот раз он не мог не улыбнуться в душе: в его практике впервые высылка из ФЭА приравнивалась к изгнанию из райских куш. Тут, видно, сказало не слишком счастливое прошлое, потому, как мне кажется, у него и зародилась жалость. Он сразу же понял, что Минна ничего не знала о нелегальной деятельности своего хозяина, которому служила ширмой, частью маскировки, каковой являлась роскошная обстановка «Чадьена»: две карликовые пальмы в ящиках на террасе, торговля лимонадом, проигрыватель, поцарапанные пластинки и одна-две парочки, которые по вечерам отваживались выйти на танцевальную площадку. Шелшер приказал принести кофе и бутерброд – Минну подняли с постели в пять часов утра – и больше не задавал ей вопросов, но она, глядя на него с тревогой, все пыталась объясниться, горячо и в то же время смиренно, порой доходя до крика, так страстно она желала, чтобы ей поверили. Может быть, Минна прочла во взгляде Шелшера дружеское расположение, которое нечасто замечала во взглядах мужчин, а она ведь так нуждалась в сочувствии. Она непременно должна рассказать все, что знает, настаивала девушка, право же, ей не в чем себя упрекнуть и не хочется, чтобы на ней висело какое-то подозрение. Она прекрасно понимает, что ее могут подозревать. Спрашивается, каким образом она, немка, да еще с сомнительными документами, оказалась в Чаде?.. Но какая связь между этим и обвинением в пособничестве тем, кто промышлял контрабандой оружия, в том, что она будто бы злоупотребила гостеприимством, оказанным ей в Форт-Лами, в то время как у нее не было другого убежища... Губы ее дрожали, слезы снова потекли по щекам. Шелшер нагнулся и мягко дотронулся до ее плеча.

«Успокойтесь, – сказал он, – никто вас ни в чем не обвиняет. Скажите мне только, почему вы приехали в Чад и как познакомились с Хабибом».

Она подняла голову, прижав платок к носу, и пристально поглядела на коменданта, словно решая, может ли сделать такое признание. «Она приехала в Чад, – объяснила Минна, – потому что ей больше было не в состоянии, так не хватало тепла, и еще потому, что любит животных. Ох, она прекрасно понимает, что такое объяснение не слишком убедительно, но что поделаешь, это правда». Шелшер не выказал ни удивления, ни недоверия. Если человек нуждается в тепле и в дружбе – удивляться нечему. Но эта бедняжка, как видно, порядком намучилась, если удовольствовалась африканской жарой, дружбой нескольких прирученных животных и мечтала как о чуде о большом стаде слонов, которое изредка показывалось на горизонте. В этом была такая покорность судьбе, которая не могла его не трогать. Минна казалась удивительно беззащитной и еще более потерянной здесь, на этой земле, чем все кочевники, каких ему когда-либо приходилось встречать.

«А Хабиб?»

Что ж, она и это может объяснить. Но ей надо вернуться на несколько лет назад. Родители ее погибли во время бомбежки Берлина, когда ей было шестнадцать лет, и она стала жить с дядей, с которым раньше ее семья даже не общалась. Однако он все же о ней позаботился, когда она осталась одна, и даже устроил петь в ночное кабаре, хотя, надо признаться, голоса у нее нет. Год она выступала в «Капелле» – война уже была вроде проиграна, и мужчинам нужны были женщины. Потом столицу заняли русские, ей пришлось пережить то же,

что и другим берлинкам. Бои продолжались несколько дней, а потом кончились и командование навело порядок. А потом... Вид у нее стал смущенный, даже виноватый, и она поглядела в открытое окно. Потом с ней случилось то, чего она не ожидала. Она влюбилась в русского офицера. Минна опять замолчала и покорно взглянула на Шелшера, словно прося у него прощения. Ах, она отлично понимает, что он о ней думает. Ей уже столько раз тыкали этим в нос. В русского? Как было можно влюбиться в русского после всего, что произошло? Она с раздражением пожимала плечами. Но при чем тут национальность? Ее соотечественники очень на нее сердились. Соседи даже проходили, не здороваясь и глядя мимо нее. А те, кто посмелее, встречая Минну одну, громко высказывали, что они о ней думают. Как она могла влюбиться в человека, который, если можно так выразиться, прошелся по ней во главе своих солдат? Подозреваю, что они выражались фигурально, а она понимала эти слова буквально. «Ну, это еще неизвестно!» – с жаром объясняла она Шелшеру. Конечно, такие случаи были. Они пару раз говорили об этом с Игорем – так звали офицера, но сами ничего об этом не знали, и, откровенно говоря, им было все равно. Сам он однажды побывал в одной из таких вилл, – он находился на фронте уже три года, а семью его расстреляли немцы; к тому же Игорь был слегка пьян. Но нельзя же судить людей по их отношению к подобным вещам, особенно в разгар войны, когда они дошли до ручки... Минна снова посмотрела на Шелшера, но комендант ничего не сказал, потому что говорить было нечего. Тогда она стала рассказывать об Игоре. Он ей сразу понравился: в лице у него было что-то веселое, привлекательное, как у многих русских и американцев... и французов тоже, – неловко поправилась она. Минна с ним познакомилась в доме у дяди – на первом этаже были расквартированы военные; он несмело стал за ней ухаживать, приносил цветы, делился пайком... Как-то вечером он ее наконец неуклюже поцеловал в щеку, – она улыбнулась, касаясь рукой щеки и вспоминая тот момент. «Это был первый поцелуй в моей жизни», – сказала она, снова кинув на Шелшера светлый взгляд.

IV

Сен-Дени прервал свой рассказ и глубоко вдохнул, словно ему вдруг понадобилась вся свежесть ночи.

– В конце концов, наверное, существует такое, чего не уничтожить. Право же, можно поверить, что человека ничем не сокрушить. Такое это создание, над ним нелегко одержать победу.

Иезуит наклонился к огню, вынул горящую ветку и поднес к сигарете. Отсветы пламени пробежали по его длинным седым волосам, по сутане и по лицу, словно вытесанному топором и похожему на те каменные изваяния, чьи следы он неустанно отыскивал в недрах земли. С наступлением ночи он, казалось, обращал внимание только на звезды, но Сен-Дени хорошо знал иезуита, и этот отрешенный взгляд, устремленный ввысь и будто перебиравший четки бесконечности, не мог его обмануть.

– Да, отец мой, вы, несомненно, правы, когда призываете меня отчасти отказаться от своих привычек, признаюсь, мне все труднее рассказывать, я все больше озадачен, а ночи, даже самые звездные, дарят тебе только красоту, но не разрешают вопросов. Но вернемся к Минне, ведь это ей мы, как видно, обязаны появлением в самом сердце страны уле, на холмах слонового заповедника, которым я нынче ведаю, знаменитого члена Иезуитского ордена, для которого изучение доисторических эпох до сих пор считалось единственным земным интересом. Но, быть может, великий орден тоже обуреваем желанием провести следствие и вам поручил составить досье – чего ведь только не говорят об иезуитах! – Он посмеялся в бороду, и отец Тассен вежливо улыбнулся в ответ. – Значит, вернемся к Минне. Она рассказала, что шесть месяцев была совершенно счастлива, а потом офицер получил приказ о переводе на другое место. Ни он, ни Минна не предвидели такой возможности, хотя ее можно было предусмотреть. Но их счастье было таким безграничным, что не допускало и мысли о конце. Офицеру дали на сборы сорок восемь часов, и он не мешкая решил бежать с Минной во французскую зону. Она объяснила, что они выбрали французскую зону потому, что у французов репутация людей, которые больше понимают в любовных делах. Им, как видно, нужна была помощь. Но они сделали большую ошибку, посвятив в свой замысел дядю. Так как тот весь погряз в нелегальных делишках, им казалось, что тут-то он им и поспособствует. Дядя спрятал Игоря у своего друга, а потом выдал его русским. Трудно понять, что его на это подвигнуло. Может, и патриотизм – ведь хотя бы одним русским офицером будет меньше; а может, наоборот, желание угодить властям, но возможно, что ему просто нравилась Минна как женщина. Минна высказала это предположение мимоходом, словно и не подозревая вовсе, какие бездны тут приоткрылись.

Шелшер не дрогнул. Он продолжал курить трубку, только крепче обхватил ее пальцами, чтобы почувствовать ладонью дружеское тепло. Возможно, что в это время он уже окончательно принял решение, так удивившее всех, кто его знал, кроме Хааса, – он-то, я должен признать, предвидел все заранее. «Все эти бывшие кавалеристы помнят только об отце де Фуко¹, – сказал он в один из своих редких кратковременных наездов в Форт-Лами. – И Шелшер не исключение». Короче говоря, продолжала Минна, Игоря арестовали, и она никогда больше ничего о нем не слышала. Ну, а сама она вернулась в «Капеллу». За прогул ей вычли недельное жалованье. Она снова жила у дяди. В то время в развалинах Берлина было почти невозможно найти жилье, и Минне казалось естественным поселиться в своей комнате. К тому же ей все стало безразлично. Дяде, благодаря его связям, нетрудно было

¹ Шарль Эжен Фуко – исследователь Африки, миссионер (1858–1916), автор «Духовных записей». (Здесь и далее примеч. пер.)

добывать уголь, а у нее если и осталось какое-то чувство, то разве что ненависть к холоду. Хотя она с трудом переносила атмосферу, царившую в Берлине. Мечтала убежать, уехать куда-нибудь далеко, очень далеко, туда, где более мягкий климат. При виде каждого русского солдата у нее щемило сердце. Видно, ей не хватало и витаминов, потому что все время было ощущение, будто она подышает от холода. Конечно, – сказала она Шелшеру, явно стараясь быть справедливой и каждому отдать должное, – дядя был с ней довольно мил, поставил к ней в комнату большую печку, которая топилась круглые сутки. Но она мечтала жить в Италии или во Франции – солдаты, которые оттуда возвращались во время войны, рассказывали об этих странах с восторгом, показывали снимки апельсиновых садов, синего моря и мимоз. Как в той песне:

Kennst Du das Land, wo die Citronen blühen,
Im dunkeln Laub die Goldorangen glühen,
Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,
Die Myrthe still und hoch der Lorbeer steht,
Kennst Du es wohl?
Dahin, dahin,
Möcht ich mit Dir,
O mein Geliebter, Ziehen.

Она часто пела эту песню Миньоны на публике, пока в один прекрасный день, уже в самом конце войны, один эсэсовский офицер не вышел на эстраду и не дал ей пощечину; потом ее допрашивали в гестапо, обвиняя в том, что она с издевкой поет песни об отступлении германской армии из Средиземноморья. Она искала работу на юге и спрашивала о ней военных из оккупационных войск. В конце концов пианист из «Капеллы» помог осуществить ее мечту. Он участвовал в тунисской кампании в составе Африканского корпуса и проездом завязал знакомство с хозяином ночного кабаре, – там наверняка можно устроиться. Сложнее всего было выправить необходимые документы, на это ушли все ее сбережения, но, слава богу, ей чуток повезло и через три месяца она уже была в Тунисе, выступая с номером стриптиза в «Корзине цветов». Там она прожила год, в общем не жалуясь, несмотря на более холодную зиму, чем она ожидала, и конечно, клиентов, которые к ней приставали. Но странное дело, у нее так и не проходило стремление сбежать, уехать еще дальше, все равно куда. Она вдруг рассмеялась и поглядела на Шелшера. «Вы, я вижу, скажете, что я вечно чем-то недовольна. Но так в самом деле и было, какое-то смутное томление, потребность быть где-то, только не здесь». Однажды вечером хозяин кабаре, тучный тунисец, который был с ней довольно мил – он не любил женщин, – отвел ее в сторону и спросил, не хочет ли она поработать в баре отеля Форт-Лами. Надо обслуживать бар, иногда петь – голос иметь не обязательно, – а главным образом быть приветливой с клиентами. «Нет, это не такое заведение, как она думает, – снисходительно сообщил он в ответ на вопрос, который она сразу же задала. – Наоборот, это очень приличное место. Просто там, в Чаде, много одиноких мужчин, которые приезжают из джунглей и нуждаются в обществе». Она знала, что Форт-Лами далеко, на другом краю пустыни, в самом сердце Африки, что это совсем другой мир. Там она наконец утолит свою жажду тепла – даже в Тунисе ей порой бывало невыносимо. Вот почему, сама не зная как, она оказалась на террасе «Чадьена», откуда по утрам можно видеть тысячи птиц на песчаных отмелях; проснувшись, она прежде всего бежала поглядеть на птиц. Она обслуживала бар и дансинг, и, вопреки ее опасениям, Хабиб никогда не принуждал ее спать с кем бы то ни было. «Кроме одного раза», – поспешно поправились она. Шелшеру было ясно, что об этом случае она просто забыла. Он не стал ее дальше расспрашивать, но она сама поторопилась рассказать об этом. Да, как-то раз Хабиб вошел в бар и

коротко сказал: «Сандро ты не откажешь, если он попросит»; и мсье Сандро, действительно, ее попросил, и она, конечно, сказала «да». Она замолчала, но так как Шелшер никак на это не отреагировал, она посмотрела на него с некоторым вызовом и пожала плечами: «Знаете, такие вещи уже не имеют для меня никакого значения. Важно совсем не это». А что именно важно, она не сказала.

V

– Сандро был владельцем грузовиков, которые обслуживали глухие углы Африки, куда крупные автотранспортные компании отказывались посылать свои машины, не желая их гонять на трассах, которые шесть месяцев в году солидные люди считали непроезжими и где доживали свой век лишь несколько старых армейских грузовиков. Он упорно исследовал пути, которыми пренебрегали крупные транспортные компании, чересчур богатые, чтобы заниматься всякой ерундой, – сперва в одиночку, с трудом окупая расходы на содержание своего единственного тупоносого ловко угнанного «рено», но уже через три года, во время бума, владел двадцатью пятью грузовиками, которые практически монопольно обслуживали второстепенные маршруты и, как говорили, с каждым годом все глубже вгрызались в джунгли, в то время как грузовики португальцев и Юго-Восточной автокомпании осторожничали, выжидая заключения экспертов о состоянии новых дорог и перспективах эксплуатации. Шелшеру было совершенно понятно, почему Хабибу хотелось задобрить владельца предприятия, который если и брал почти на десять процентов дороже за километр, не отказывался гонять свои грузовики по дорогам, еще наполовину скрытым водой, не задаваясь вопросом, в сохранности ли мосты через реки. Его шоферов нередко можно было застать загорающими по двое суток в «rotonoto» перед каким-нибудь потоком, которого не было в прошлый проезд, либо увязшими по ветровое стекло в грязи, перед которой, кажется, бессильно даже солнце. Но, несмотря ни на что, груз в конце концов доходил по назначению, туда, куда в это время года не добирался никакой другой транспорт, к племенам, которые, по слухам, были недостижимы – к дибунам из Камеруна, крейхам на суданской границе и даже к уле. Подобное «окно» в джунглях было для Хабиба поистине бесценным – он мог не сомневаться, что его товар, под вывеской того же американского лимонада, чья реклама украшала веер ливанца, дойдет к какому-нибудь торговцу-арабу или азиату, затерянному в дебрях Африки; к тому же дух предприимчивости Сандро вызывал у Хабиба восхищение и одобрение. Марселец же знать не знал, что за грузы ему доверяют, пока однажды один из его грузовиков не взорвался только потому, что съехал в канаву и перевернулся, а так как авария случилась очень далеко, полиции понадобилось две недели, чтобы задуматься над этим делом, и если бы господы Хабиб и де Врис все еще пребывали в Форт-Лами, они бы дорого заплатили хозяину грузовика за смерть шофера. Но тогда оба они были уже далеко, и все, что оставалось Сандро, – побеседовать с Минной, чья очевидная непричастность и недоумение окончательно его взбесили. Ведь она и в глаза не видела Хабиба до своего приезда в Форт-Лами, доказательством чему служила фотография, которую ей пришлось ему послать; и не думала о поездке в ФЭА до того дня, пока не получила предложение от хозяина кабака.

«И вы согласились так сразу?»

Да, согласилась не раздумывая. Она слышала рассказы о Чаде еще в детстве; ее отец преподавал в лицее естествознание; об этом она сообщила с ударением, словно показывая, что когда-то знавала лучшие дни. Она помнила, что Чад далеко, очень далеко, где-то в непролазных дебрях Африки, и сразу же представила громадные стада, которые мирно бродят по саванне. У нее ведь никого не осталось, кроме берлинского дяди, и она согласилась не раздумывая... «Я очень люблю природу и зверей!» – горячо воскликнула она.

«Странная идея – только ради этого ехать в Чад, – дружелюбно заметил Шелшер. – Могли купить собаку».

Она отнеслась к его словам очень серьезно и даже оживилась: было видно, что Шелшер задел больное место. Ей трудно было бы держать собаку при той жизни, какую она вела. В Тунисе платили понедельно, постоянно грозили выбросить на улицу: она не могла взять на себя такую ответственность. «А потом, понимаете, – пояснила Минна, – у собак ведь такое

самолюбие». Она не раз это замечала. В Берлине у нее был старик-сосед, который среди бела дня копался в помойках. Старика обычно сопровождал пес. «И вы бы видели, какое выражение морды было у этой собаки! Клянусь, она отворачивала голову, словно не желала смотреть, как хозяин роется в отбросах; я уверена, что ей было за него стыдно. Вот, пожалуй, потому я и не хотела заводить собаку...» Она вдруг весело рассмеялась, что ей было очень к лицу. Шелшер впервые заметил, что она может быть красивой. «Не посмела. Но это не мешает мне любить их издали. Я из тех, кто гладит чужих собак. А если вам и правда хочется знать, почему я согласилась, могу сказать: ради собственного покоя, в Тунисе клиенты от меня не отставали, – вы же знаете, что значит раздеваться догола в ночном кабаре. И я в самом деле надеялась, что Чад – такое место, где можно найти убежище на лоне природы, среди слонов и мирных стад, которые бродят по саванне. И птиц. Вот почему я приехала. И знаете, не жалею, особенно когда утром открываю окно». Такое объяснение, услышанное от девушки, о которой довольно грубо и несправедливо говорили, будто ее такса «десять тысяч монет за ночь», показалось бы довольно нелепым и, уж конечно, неправдоподобным всем, кроме Шелшера. Высказанное на террасе «Чадьена», оно вызывало только усмешки и неодобрительное покачивание головой. Оно было просто находкой для Орсини, который потом, во время «событий» – в Чаде все понимали, что под этим подразумевается, – с торговом знатока приводил ее слова в доказательство безграничной наивности коменданта. Но вы-то знали Шелшера, это был человек, умевший составить собственное мнение, и смешки за спиной его не трогали. Он сразу поверил Минне, когда, объясняя свой приезд в Чад, она поведала о любви к природе и потребности в тепле и дружбе, и, наведя кое-какие справки в Тунисе и Германии, оставил ее в покое.

Должен все же добавить, что единственные звери, которых она могла увидеть с террасы «Чадьена», где иногда подолгу простаивала, опершись о перила, после отъезда Хабиба и де Вриса, – кайманы, лежавшие на песчаных отмелях, пеликаны и антилопа, прирученная городским ветеринаром и в сумерки, до появления клиентов, обычно наносившая Минне визит вежливости.

Я как-то раз видел их вместе в конце дня – девушка обняла животное за морду с таким выражением детской радости, что бывший со мной полковник Бэбкок заметил: «Можно подумать, что ты за сто тысяч миль от всего...» Он не уточнил, от чего именно, но вы понимаете.

Лицо иезуита по-прежнему было непроницаемым, и Сен-Дени, выждав секунду, продолжал:

– Кстати, это был тот полковник Бэбкок, который, когда Минна уже стала в «Чадьене» легендой, а воспоминания о ней – достоянием тамошних обитателей, подошел, пожалуй, ближе всех к истине, разумеется как офицер и джентльмен, то есть соблюдая меру. Он довольно долго просидел в баре совсем один, не сказав за весь вечер никому ни слова, а потом поставил на стойку стакан и расплатился. Оставив сдачу, он вдруг строго сказал бармену, глядя на него невидящим взором: «В сущности, эта девушка нуждалась только в любви».

Никто даже не обернулся, хотя эта история занимала не только его. Вот вам и полковник Бэбкок. Жаль, что Иезуитский орден не может расспросить обо «всем», по его собственному выражению; к несчастью, для того чтобы до него добраться, мало одной выносливости лошади и решительного священника.

Иезуит улыбнулся: то, о чем полковник мог сказать, еще не потеряно, вовсе нет!

– Теперь вы видите, что мы сами задаем себе ваш вопрос и то и дело мысленно возвращаемся к тем событиям, перебирая все мельчайшие подробности. Мне иногда кажется, что они продолжают совершаться, но в другом измерении, и что их участники, приговоренные к вечности, навсегда обречены переживать те же трудности и совершать те же ошибки, пока

не вырвутся из этого адского круговорота благодаря порыву нашего братского участия. Мне кажется, они подают нам отчаянные знаки, всеми средствами привлекают наше внимание, порой даже бесстыдными, словно им во что бы то ни стало надо добиться понимания. Я уверен, что вы их видите так же отчетливо, как и я, что они снятся вам по ночам, как и мне, – не зря же вы сюда приехали.

Сен-Дени замолчал и повернулся к собеседнику, словно ожидая отклика или подтверждения. Скрестив руки на груди, иезуит сидел с поднятой головой. Лунный свет блуждал по холмам, звезды, рассыпавшись до краев равнины, продолжали настойчиво и ясно учить отрешенности. Порой слышался топот проходящего стада. Отец Тассен взял сигарету и закурил. Он спрашивал себя не без иронии, обнаружит ли в конце концов то, ради чего приехал, или ему придется удовольствоваться тем, что уже знает. Он подумал, что в его годы терпение перестает быть добродетелью, оно становится роскошью, которую все меньше и меньше можешь себе позволить. Поэтому он слушал Сен-Дени внимательно, ловя малейшую подробность, и в то же время предавался воспоминаниям, пытаясь их себе уяснить раз и навсегда. Завораживающий покой окрестных холмов и взволнованный голос рассказчика должны были помочь ему разобраться наконец в этой истории со всей беспристрастностью ученого.

VI

Он вовсе не был похож на «отщепенца» – как его прозвали по аналогии с теми слонами, которые живут одни, тая ото всех полученную рану, и в конце концов становятся злобными и даже могут кинуться на человека. Довольно крепкий, кряжистый мужчина с волевым и мрачноватым лицом, вьющимися каштановыми волосами, которые порой нетерпеливо откидывал; да и все, что делал, он делал резко, решительно, – чувствовалось, что колебания ему не по нутру. В Форт-Лами его почти не встречали. Позднее выяснилось, что он какое-то время все же прожил в туземной части города, – на него просто не обращали внимания. И дело было не в том, что он старался быть незаметным. Наоборот, он сумел чуть ли не всем надоесть своими путаными, дурацкими воззваниями к правительству. «Речь тут идет о деле, которое всех нас касается», – говорил он, вынимал из портфеля лист, аккуратно его расправлял и пальцем указывал место, куда надлежало поставить подпись; казалось, он был уверен, что никто не откажется, хотя внизу на бумаге не было ни единой фамилии. Обычно при слове «петиция» люди поворачивались спиной, заявляя, что они не занимаются политикой. «Послушайте, при чем тут политика? – раздраженно возражал он. – Речь идет о самой обычной гуманности». «Конечно, конечно!» – отвечали ему насмешливым тоном, по-приятельски хлопнув по плечу и спроваживая с показной вежливостью, которая все же обязательна по отношению к белому тут, в колонии. Он не настаивал, брал свою порыжевшую фетровую шляпу и молча уходил, даже не взглянув на собеседника, с невозмутимым видом человека, уверенного, что последнее слово останется за ним. Те, кто давал себе труд пробежать его петицию, – Орсини, к примеру, знал ее чуть не наизусть, так как читал и перечитывал с угрюмым сладострастием, питая таким образом свою злобу ко всем, кого, по его словам, больше всего ненавидел, – людей, считающих, что им все дозволено, хоть и не уточнял, что именно им дозволено, – все, кто читал его петицию, говорили о ней в баре «Чадьен» со смехом, довольные, что есть тема для разговора, кроме падения цен на хлопок или последних зверств мо-мо в Кении. Минна, которую иногда приглашали за столик, слушала эти перебранки, не спуская глаз с официантов, разносивших в сумерки, которые быстро погружали все в темноту, на террасе напитки, – от всей Африки оставалось только небо, оно, казалось, спускалось, становилось ближе, чтобы лучше вас разглядеть, понять, откуда взялся весь этот шум. «Представляете, ко мне приходил какой-то псих и хотел, чтобы я подписал петицию о запрещении охоты на слонов в Африке...» Минна смотрела, как над рекой медленно кружит гриф. Каждый вечер он словно расписывался в небе, чтобы оно могло перевернуть еще одну страницу. На миг в тростниках противоположного берега показался скакавший галопом всадник – это был американский майор, который словно спасался от чего-то неминуемого, быть может, от самих этих сумерек; он уже много месяцев подряд проезжал там каждый вечер, в один и тот же час, словно слившись с невидимой стрелкой, неумолимо вращавшейся по циферблату, так хорошо знакомому Минне каждой своей отметиной: купы деревьев, три рыбачьи хижины, несколько пирог, горизонт, смазанный высокими травами, устье Шари, возле впадения Логоне, а дальше, к востоку, одинокая пальма в Форт-Фуру и снова бескрайнее небо, словно символ небытия.

– А кто-нибудь знает этого чудака?

Полицейский комиссар Котовский, «Кото» для своих подчиненных, – бывший легионер со шрамами на лице, напоминавшими ритуальные надрезы южных племен, сообщил, что этого чудака зовут Морель, что он уже больше года живет в Форт-Лами, но большую часть времени проводит в джунглях. Он указал в анкете свою профессию: «зубной врач», но подлинная его страсть – слоны; братья Юэтт как-то видели его посреди стада из четырехсот животных, к востоку от Чада. Котовскому он тоже надоедал своей петицией. Тут, видно, мы

имеем дело с помешанным, но совершенно безвредным. В ответ на это из полутьмы послышалось презрительное карканье Орсини, полное неудержимой злобы, – и все, кто его знал, отчетливо представили, несмотря на темноту, раздраженное, перекошенное лицо, будто кричавшее всему свету, что никому еще не удавалось провести Орсини д'Аквививу, «Зовите меня просто Орсини, – говорил он, – я не гордый», – что он видит всех насквозь, вывел на чистую воду, раскусил в первую же минуту, знает истинную цену, то есть не ставит ни в грош. Этот крик обладал странной способностью сжимать все мироздание до величины булавоочной головки. Минне казалось, злорадные зубоскалы утверждают, будто единственное, чего можно ждать от жизни, – чтобы вы потом могли лишь вымыть зубы и прополоскать рот, что всем людским поступкам суждено завершаться каким-нибудь несусветным свинством. Она с первой же встречи отказалась иметь с ним какое бы то ни было дело. Сразу же категорически отвергла все его заигрывания, отвергла с яростной, ожесточенной решимостью. С тех пор он величал ее только «немчурой», и когда в его присутствии произносили имя Минны, сразу замолкал, не принимал участия в беседе и равнодушно смотрел в сторону. Весь его вид говорил, что он, дескать, много знает, но не желает зря молотить языком – пока не время. Иногда кто-нибудь из вновь приехавших попадался на крючок и начинал задавать ему вопросы. Орсини, поломавшись немного, раздражался речью. Уж не считают ли его простофилей? Пусть комиссара Котовского, если тому угодно, водят за нос или он сам закрывает на все глаза; что до него, то он давно понял, с кем имеет дело. Неужели они и вправду верят – а ведь люди серьезные, опытные, – что эта девица случайно попала в Форт-Лами, только потому, что не знала, куда ей деваться? Неужели они верят, что такая ладная девица – он-то лично не любитель «немчуры», однако надо признать, что у нее все на месте, – неужели такая девица приехала в ФЭА просто для того, чтобы служить в баре отеля «Чадьен» и кое с кем спать, – кое с кем, подчеркнул он, но не со всяким, выбор тут тщательный! Надо быть Шелшером, чтобы быть настолько наивным, а может, тут не наивность, а кое-что похлеще? А что же она, по его мнению, делает в Чаде? Орсини поводил плечами и поглубже усаживался в кресло. Он не желает об этом говорить. Во всяком случае, пока. Это дело Службы безопасности. Лично ему все глубоко безразлично. Он тут ни при чем. Это не значит, что в нужный момент он не заговорит и не назовет кого надо по именам; но пока скажет одно: сколько он в жизни ни охотился, следа никогда не терял, шел по нему до конца. Вот это пусть все и запомнят. Котовскому передавали эти высказывания, но комиссар относился к ним равнодушно, хотя однажды, встретив Орсини на базаре, мимоходом ему сказал со своим заметным славянским акцентом:

– Кстати, старина, у меня есть для вас интересная новость. Я, видно, все же выдворю отсюда Минну. Думаю доложить губернатору. Жены стали жаловаться. Уж больно она всем режет глаза. Я вам рассказываю об этом потому, что, говорят, вы тоже были недовольны, – и вы правы. Вот я и попрошу ее убрать свои прелести подальше.

Он произнес свою тираду, продолжая осматривать вместе с врачом руки женщин в черных одеждах, что сидели на корточках перед кучами земляных орехов, которые предлагали прохожим. От их пропитанных маслом волос исходил пронзительный, тошнотворный запах. Комиссар и врач проводили осмотр по той причине, что им донесли, будто у одной из женщин на руках проказа, а ведь очищенные от шелухи орехи... Орсини побледнел. Его кадык судорожно задергался. Он выдал улыбку.

– Ах так, – пробормотал он, – принимаете решительные меры.

– Порой находит, знаете ли, – ответил комиссар. – Вы покупали арахис? Мне донесли, что у одной из торговков проказа.

– А мне плевать, – сказал Орсини, – она не заразная. Я ведь уже двадцать лет здесь живу.

– Знаю.

Кото взял горсть орешков и принялся грызть. Он знал, что прокаженную не найти – она либо сбежала при их появлении, либо, что еще вероятнее, слух был уткой, пущенной сирийскими лавочниками, воюющими с базарными торговками. Орсини больше не произнес ни слова, но на следующее утро появился в управлении. Кото нашел его сидящим в приемной.

– Могу я вам сказать пару слов по делу, которое меня не касается?

– Давайте. Я прислушиваюсь к советам, особенно если их вам дает ветеран.

– Послушайте, Кото, почему бы вам не оставить эту девушку в покое?

Комиссар и глазом не моргнул. Он все понял. Одинокая девушка в самом сердце Африки, да в придачу еще немка, может какое-то время сопротивляться, но в один прекрасный день ей придется уступить, особенно другу своих хозяев. А злость, которую она вызывает у Орсини, можно утолить только одним способом.

– Ну ладно, – сказал он, – вижу, что вы один из счастливых избранных.

– Напрасно вы так легкомысленно к этому относитесь! – вспыхнув от ярости, возразил Орсини. – Вы когда-нибудь видели, чтобы такая смазливая девушка приезжала служить в баре в Форт-Лами?

– Я уже на многое посмотрелся, Орсини, в том числе и на вас, – ответил Кото.

– Она ведь приехала из Берлина, да? А я случайно получил оттуда кое-какие сведения. Она пела в ночном кабаке в русской зоне. Была любовницей советского офицера. Если вы думаете, что мо-мо сами всем обзавелись...

– Значит, есть еще одно основание от нее избавиться, не так ли?

– Разрешите заметить, что это была бы топорная работа. Наоборот, ее надо оставить здесь, но не спускать глаз. Помешать сняться с места, загнать в угол. Рано или поздно в этой стране она должна допустить промашку. И тогда можно будет заграбастать всех ее дружков.

– Понял, – серьезно ответил Кото.

– Можете на меня рассчитывать, буду держать вас в курсе. У меня свои источники информации.

– Спасибо.

Он пристально поглядел на Орсини. Тот побледнел, губы его дрожали, пытаясь растянуться в улыбку.

– Ваш диагноз, Кото? – спросил он с вызовом. – Я отпетый негодяй, не так ли?

Комиссар ничего не ответил и опустил глаза, разглядывая бумагу, лежавшую на столе. Орсини минуту помолчал, его тяжелое дыхание, казалось, наполняло комнату.

– Вот уже двадцать лет, как я живу в Африке... один. И если в первый раз мне кто-то понравился...

Комиссар продолжал смотреть на бумагу.

– Вы не выселите Минну, Кото? Вы так со мной не поступите? Нельзя же всю жизнь находить утешение только в охоте на слонов...

Он тихонько взял панаму, еще минуту подождал ответа, потом усмехнулся и вышел. Кото сидел, сжав челюсти и опустив голову, потом резко протянул руку к звонку и вызвал капрала. Капрал был из племени сара – круглое спокойное лицо, ясный взгляд свидетельствовали о здоровье, довольстве и мягкой мечтательности. Он стоял навытяжку, пока Кото молча его разглядывал. Не удивился, не задал вопроса, просто стоял, прижав мизинец к шву своих брюк. Кото набирался сил, изучая добрую, здоровую, обнадеживающую физиономию довольного жизнью человека. Когда у него отлегло от сердца и он снова смог вдохнуть полной грудью, комиссар отослал капрала из комнаты.

VII

В сумерках раздался голос Орсини – на террасе как можно дольше не зажигали ламп: вокруг них вились тучи мошкары, – он закричал с такой пронзительной издевкой и злобным глумлением, что в крике этом было даже что-то поэтическое: казалось, что его издала в африканской тьме некая неведомая птица. Крик был ответом на слова комиссара о безвредности Мореля, того Мореля, который, обойдя поочередно всех и строго на них глядя, просил подписать свою петицию. Все разом обернулись в темный угол, откуда послышался голос, в котором была та жгучая сила, та хрипая властность, которые вдруг вскрыли тишину как рану. Все молча ждали. И тогда голос прозвучал вновь, но уже дрожащий, почти напевный, полный такого безудержного негодования, которое превосходило свой непосредственный предмет и включало людей, планеты, каждую пылинку, каждый атом жизни.

«Безвредный?» – У него на этот счет свое мнение, и никто его переубедить не сможет. Конечно, для людей добродетельных все чисто; он почтительно отдает дань коменданту Шелшеру, но сам не питает особых иллюзий насчет собственной чистоты. К нему, как и к остальным, приходил Морель, петицию которого Орсини прочел с большим интересом. В конце концов, охота на слонов его тоже отчасти касается. Официально у него на счету пятьсот животных. Не говоря уже о гиппопотамах, носорогах и львах; общее число, по самым скромным подсчетам, наверняка приближается к тысяче. Да, он охотник и тем гордится и будет продолжать охоту на крупного зверя, пока хватит дыхания идти по следу и сил держать в руках ружье. Поэтому можно себе представить, с каким вниманием он читал эту петицию. Та напоминала о числе слонов, которых ежегодно убивают в Африке – а именно тридцать тысяч за один истекший год, – и горестно оплакивала судьбу этих животных, вытесняемых все дальше и дальше в болото и обреченных исчезнуть с лица земли, где человек с остервенением их преследует. «Там сказано, – Орсини процитировал буквально: «Немыслимо смотреть на то, как громадные стада несутся по бескрайним просторам Африки, и не поклясться сделать все, чтобы продлить присутствие среди нас этого чуда природы, этого зрелища, которое вызывает счастливую улыбку у всякого, достойного называться человеком». – У всякого, достойного называться человеком! – выкрикнул Орсини почти с отчаянием, с какой-то безудержной злобой и замолчал, словно подчеркивая всю гнусность подобного требования. – Там же утверждалось, что «времена гордыни миновали», что мы должны относиться с гораздо большим смирением и чуткостью к другим видам животных, «отличных от нас, но отнюдь не низших». Отличных, но не низших! – снова с негодованием повторил Орсини. – А дальше говорилось: «Человек на этой планете дошел до такого состояния, что ему насущно необходимо всякое дружеское участие, какое только он может обрести, и нуждается в своем одиночестве во всех слонах, во всех собаках, во всех птицах...» – Орсини странно захохотал, с каким-то победоносным глумлением, в котором не было ничего веселого. «Пришло время поверить в себя, показав, что мы способны сохранить тех свободолюбивых гигантов, неуклюжих и прекрасных, которые еще живут рядом с нами...»

Орсини замолчал, но его отрывистый голос словно продолжал звенеть в темноте, готовый вновь клеймить и обвинять. Послышались смешки. Кто-то заметил, что, если содержание этого потешного документа действительно таково, автор всего-навсего чудаки и трудно вообразить, что он может быть опасен. Орсини презрел это замечание, попросту исключив того, кто его сделал, из разряда смертных, достойных внимания.

«Вот каков этот субъект, – продолжал он, – месяцами бродил по джунглям, проникал в самые отдаленные деревни и, выучив ряд местных наречий, якшался с туземцами, занялся последовательной и опасной подрывной работой, пороча репутацию белых. Ибо не надо быть ни таким уж проникательным, ни даже государственным чиновником, которому платят

за охрану безопасности колонии, – Шелшер улыбнулся, – чтобы осознать цель этой петиции – она, несомненно, уже ходит по деревням с разъяснениями автора, и, может быть, куда более откровенными, чем сам документ. Западную цивилизацию изображают в состоянии крайнего распада, которого африканцы всеми силами должны избегать. Вот как представляют христианство, хорошо, если не призывают вернуться к людоедству, ведь и оно – меньшее зло по сравнению с современной наукой и с орудиями уничтожения, хорошо, если им не советуют поклоняться своим каменным идолам, – не зря ведь люди из породы Мореля забили ими все музеи мира. Ах, если бы дело было только в слонах! Вольно же тем, кто видел, как мо-мо в Кении подняли стихийное восстание безо всякой предварительной подготовки, упорно закрывать на все глаза». Что же касается его, Орсини д'Аквавивы, он ничего не предлагает, ничего не советует, он просто не желает, чтобы его дурачили. И повторяет, что не ему платят деньги за безопасность колонии. Петиция Мореля беспрепятственно переходит из рук в руки по всему Чаду, обрастая различными подписями, какими именно, он, в сущности, предполагал заранее...

Он говорил уже несколько медленнее, менее раздраженным и более лукавым тоном, и губы его сложились в нечто вроде улыбки. Да, когда Морель поднес ему свою петицию, под ней красовались две подписи белых, – это было первое, на что он, конечно, обратил внимание. Два имени: майора Форсайта, этого американского отщепенца, выгнанного из армии за то, что, попав в плен, он охотно признался корейцам, что сбрасывал на мирное население бомбы с мухами, зараженными холерой и чумой. Кстати, не мешает задаться вопросом, почему власти Чада сочли нужным оказать гостеприимство изменнику, которого изгнала собственная родина. Что же касается второй подписи, пусть присутствующие догадываются сами. Он замолчал. И в напряженной тишине вдруг повел себя сдержанно, как истый джентльмен до мозга костей: нет, он не скажет, ни за что... И тогда послышался голос Минны, которая спокойно произнесла:

– Там стояло мое имя. Я тоже подписала.

VIII

Он появился в «Чадьене» в конце дня, когда она за стойкой отбирала на вечер пластинки. Поспешно вышел на пустую танцевальную площадку и остановился, сжав кулаки и озираясь, словно искал кого-то, с кем требовалось свести счеты. На этой пустынной террасе, где само небо словно ожидало хоть какого-нибудь посетителя, вид у него был и грозный, и слегка растерянный. Минна улыбнулась, во-первых, потому, что для того она здесь и находилась, во-вторых, оттого, что раньше его не видела, а она заранее симпатизировала людям, с которыми не была знакома. Нет, он не показал ей своей знаменитой петиции, во всяком случае, не сразу. Он подошел поближе; тогда девушка заметила, что рубашка на нем рваная, лицо в кровоподтеках, вьющиеся волосы спутаны, прилипли к вискам и к высокому упрямому лбу, прорезанному тремя глубокими морщинами. Он, казалось, только что кончил драку и затевает новую. Под мышкой он держал старый кожаный портфель.

– Мне надо поговорить с Хабибом.

– Его нет.

Он как будто огорчился и снова обвел взглядом террасу, словно проверяя, правда ли это.

– Месье Хабиб в Майдагури. Вернется только завтра вечером. Может быть, я могу вам чем-нибудь помочь?..

– Вы немка?

– Да.

Лицо его слегка прояснилось. Он положил портфель на стойку.

– Ага, значит, мы с вами почти соотечественники. Я тоже, можно сказать, немного немец, натурализовавшийся, так сказать. Меня во время войны насильно угнали в Германию, и я два года провел там в разных лагерях. Чуть было не остался совсем. Привязался к этой стране.

Она смущенно нагнулась к пластинкам, сразу же приготовившись к обороне, хотя в Форт-Лами с ней были скорее ласковы, если не считать беглых, слегка насмешливых взглядов, которые на нее бросали, как только поминалась ее национальность. Она вдруг почувствовала, что рука этого мужчины дотронулась до ее руки.

– Ладно, ладно, опять я сболтнул лишнее. Живу один и совсем разучился разговаривать с людьми. Правда, это не так уж и плохо.

– Вы плантатор?

– Нет. Я занимаюсь слонами.

– Значит, вы знаете месье Хааса? Он работает на зоопарки и цирки. Специалист по отлову слонов. Именно он поставил в Гамбург всех зверей Гагенбека.

– Да, я знаю месье Хааса, – медленно произнес он, его лицо снова помрачнело. – Уж его-то я знаю. Давно приметил... В один прекрасный день месье Хааса повесят. Нет, мадемуазель, я не ловлю слонов. Довольствуюсь тем, что живу среди них. Месяцами хожу за ними, изучаю. Вернее говоря, восхищаюсь. Не стану от вас скрывать – я отдал бы все на свете, чтобы самому превратиться в слона. И говорю это для того, чтобы вы не думали, будто я против немцев, как вам только что показалось... Тут все куда сложнее... Дайте мне рому.

Она не поняла, шутит ли он или говорит серьезно. Быть может, он и сам этого не знал. Но, услышав эту малопонятную для нее речь, она почувствовала, что перед ней человек добрый, немножко чудаковатый, но ведь доброта всегда делает тебя странным, как объяснила она потом Сен-Дени, тут уж ничего не поделаешь.

– Раз Хабиба нет, могу я для него кое-что оставить?

– Разумеется.

– Но вам придется мне помочь.

Она вышла с ним, недоумевая, что бы это могло быть. Перед триумфальной аркой, украшавшей вход в «Чадьен», она увидела машину де Вриса. Морель отворил дверцу. Спортсмен лежал, скорчившись на заднем сиденье, – распухшее лицо, рука на перевязи, на голове повязка; двигаться он явно не мог. Де Врис бросил на них взгляд, полный боли и ненависти.

– Я застал его к востоку от озера. Он собирался убить четвертого слона за день. Я выстрелил в этого мерзавца с сорока метров, но перед тем слишком долго бежал и руки дрожали, – промахнулся.

Морель будто извинялся.

– Тогда я чуток объяснился с ним при помощи приклада. Будьте любезны, передайте Хабибу, что, если я когда-нибудь снова замечу, что этот подлец шатается возле стада, я из него сделаю такую отбивную, на какую не способны даже слоны. Вот и все. До свидания.

– Обождите.

Он обернулся.

– Вы не заплатили за ром.

– Сколько с меня?

– Но вы его даже не выпили... Хотя бы допейте...

Он следом за девушкой направился в бар. Она дала указание слугам, и те занялись де Врисом. Минна и Морель какое-то время молчали. Она прислонилась к стене, скрестила руки и без улыбки смотрела на него. Он опустил голову, стиснул пальцами стакан. Она спокойно ждала, с каким-то поразительным самообладанием, и ему пришлось какое-то мгновение сопротивляться этому немому призыву. Потом он поглядел на реку, на противоположный берег, – там, как и во всяком африканском пейзаже, расстилался необъятный простор, словно таинственным образом освобожденный от чьего-то чудесного присутствия. Как будто только доисторическое животное, уже исчезнувшее с лица земли, было под стать этому пустому необитаемому пространству, которое, казалось, требовало его возвращения. Морель улыбнулся и заговорил тихо, ласково, как разговаривают с детьми. Он не сказал ни кто он, ни откуда приехал, вел разговор только о слонах, как если бы то был единственный предмет, достойный обсуждения. Каждый год в Африке убивают десятки тысяч слонов – в прошлом году погибло тридцать тысяч, – и он решил сделать все, чтобы положить конец этой преступной практике. Вот зачем он приехал в Чад – чтобы развернуть кампанию в защиту слонов. Все, кто видел, как эти великолепные животные ступают по последним девственным тропам нашей планеты, понимают, что мы не можем утратить это живое сокровище. В Конго скоро соберется конференция по охране африканской фауны, и он готов употребить все средства, чтобы добиться принятия необходимых мер. Он знает, что стадам угрожают не только охотники, – ведь еще вырубают леса, расширяют посевные площади, прогресс! Но, конечно, самое подлое – охота, и борьбу надо начинать против нее. Знает ли она, к примеру, что слон, попав в западню, наткнувшись на колья, умирает много долгих дней? Что среди туземцев до сих пор широко распространена охота с помощью огня, и ему попались на глаза трупы шестерых слонят, ставших жертвами пламени, от которого взрослые животные сумели спастись благодаря своим размерам и быстрому бегу? Знает ли она, что целые стада слонов выбирались иногда из горящей саванны, обожженные до брюха, и неделями мучились от ожогов? Он иногда ночи напролет слышал крики покалеченных животных. Знает ли она, что контрабанда слоновой костью до сих пор широко практикуется арабскими и азиатскими торговцами, толкающими племена на браконьерство? Тридцать тысяч слонов в год – стоит хоть на минуту задуматься об этом, и ты, схватив ружье, станешь на защиту слонов. Знает ли она, что на глазах у Хааса, монопольного поставщика крупных зоопарков, дохнет не менее половины отловленных слонят? У туземцев есть хоть какое-то оправдание: у них не хватает

в пище протеинов. Они убивают слонов, чтобы питаться их мясом. Защита слонов в первую очередь требует поднять уровень жизни африканцев – это первое условие во всякой серьезной борьбе по охране природы. Ну а белые? «Спортивная» охота ради меткого выстрела?

Он повысил голос; во взгляде добрых карих глаз выразилась такая скорбь, которая была красноречивее всяких слов. Ибо Минна нисколько не усомнилась – поняла сразу, с первого же слова: вот и тут все дело в одиночестве. Ей пришлось потом повторить то же самое судьям, серьезно, даже торжественно глядя тем прямо в глаза, словно убеждая, что сомневаться нечего: для нее вопрос был ясен, она в таких делах разбирается. Этот человек много страдал и чувствовал себя очень одиноким. Она догадалась сразу, потому что его потребность жить среди слонов была сродни той, что толкала ее смотреть с террасы «Чадьена» на пустынный берег реки и песчаные отмели, где неподвижно стояли тысячи белых голенастых птиц и где каждый корявый куст, каждая птица казались знаком пустоты, карикатурой на то, чего у нее не было, чего ей не доставало. Единственная ласка, которую здесь дарили Минне, единственный знак привязанности – теплая морда ручной антилопы в ладонях. И было забавно представлять себе, что будет, если дать волю потребности, которую она так хорошо понимала, – ведь и всех слонов Африки не хватит, чтобы заполнить эту пустоту. Она не шевелясь стояла у стены, стараясь не прерывать Мореля, и даже не улыбалась при мысли, что, наверное, впервые мужчина с таким жаром разговаривает с женщиной о слонах. Она думала и о том, как ему повезло, ведь только девушка, на которую мужчины кидались, даже не расстегнув пряжки на поясе, способна понять, какие странные, а иногда и смешные формы может принять потребность в дружбе и участии.

Он ни разу не говорил с ней ни о чем, кроме слонов, но позднее, в ту ночь, когда уже была готова все объяснить, она сказала Сен-Дени, что никогда еще ни один человек не говорил с ней так откровенно. «Я хотела ему помочь – вот и все», – закончила она, передернув плечами, и Сен-Дени поразила контраст между силой ее чувства и бедностью слов, которыми она хотела это чувство выразить. Он стал ее расспрашивать, упорно и даже сердито, но так ничего больше и не добился. «Я прекрасно видела, что он дошел до точки, что ему кто-то нужен». Она затаилась сигаретой и бросила на Сен-Дени долгий, требовательный взгляд, которым часто сопровождала свои фразы, словно желая их продлить, намекнуть, что в них есть скрытый смысл, который она предоставляет вам разгадывать. «Сама ведь знаю, что это такое, нечего и говорить...» У Сен-Дени вдруг создалось впечатление, что и эти банальные слова, и манера говорить врасстяжку, и сигарета в уголке накрашенных губ, и голые ноги, которые она скрестила под слишком коротким халатиком, – средства защиты, чисто человеческая попытка скрыть полную потерянность. «Да, я-то знаю, как бывает. Уверена, что и вам это знакомо, месье Сен-Дени, ведь говорят, вы один живете в джунглях уже тридцать лет. Рано или поздно, месье Сен-Дени, становится невтерпеж, и тогда одного спасают слоны, другого – собака или звезды и холмы, как вас, – говорят, будто вам этого хватает. Ну, а он, – я видела, что он больше не может». Иезуит вздохнул, и Сен-Дени, который не без горечи повторил слова Минны, тут же последовал его примеру.

– Ну да, святой отец, я понимаю, что вы думаете. То, что он обратился к животным, ясно показывает, до чего же мы обеднели. Вы, конечно, посоветовали бы ему поискать что-нибудь более значительное, чем наши толстокожие друзья. Быть может, он просто такой человек, которому недостает мужества, или у него беднее воображение. В этом я с вами абсолютно согласен. – Иезуит слегка вздернул брови, удивившись такому странному толкованию невинного вздоха. – Рядом с нами пустует огромное место, но все стада Африки не смогут его заполнить. Человеческая душа, отец мой, – это совсем не то же, что африканский континент, – он, безусловно, велик, но все же имеет границы, замкнут морями и океанами.

Отец Тассен уставился себе под ноги. Ему всегда бывало неловко, когда с такой уверенностью вещали о человеческой душе. «Я хотела помочь, вот и все...» Подобное объяснение было куда понятнее.

В удивительной тишине, которая, казалось, всегда выбирала это время, чтобы опуститься на реку с тростниками и еще не уснувшими птицами, быстро стужались сумерки. Морель продолжал рассказывать своим глуховатым голосом, полным сдержанной страсти. Потом он замолчал и поднял взгляд.

– Я вам надоел своими рассказами.

– Вовсе нет. Надоедают не так.

– Должен еще сказать, что, когда я был в плену, слоны мне здорово помогли, и теперь я пытаюсь с ними расплатиться. Эта мысль пришла одному товарищу после нескольких дней карцера – метр десять на метр пятнадцать: когда он почувствовал, что стены его душат, он стал думать о стадах слонов, пасущихся на свободе. Каждое утро немцы находили его в прекрасном состоянии, он мог даже шутить; стал неуязвим. Выйдя из карцера, он поделился с нами своим опытом, и всякий раз, когда становилось невмозможу в моей клетке, ты принимался мысленно воображать этих великанов, вольно несущихся по громадным просторам Африки. Это требовало большого напряжения фантазии, но поддерживало силы. Оставшись один, при последнем издыхании, ты сжимал зубы, улыбался и, закрыв глаза, продолжал смотреть на слонов, которые все сметали на своем пути, их ничто не могло удержать или остановить; ты явственно слышал, как дрожит земля под ногами этой стихии, и ветер открытых широт наполнял твои легкие. Лагерное начальство в конце концов забеспокоилось: моральное состояние нашего барака было на редкость высоким, да и умирали в нем меньше. Нам подкрутили гайки. Вспоминаю одного приятеля, парижанина по имени Флюш, он был моим соседом по нарам. Вечером я увидел, что он не в состоянии двигаться, пульс у него упал до тридцати пяти ударов, но время от времени мы встречались взглядами, я замечал в глубине его глаз едва уловимый проблеск и понимал, что слоны еще при нем, он еще видит их на горизонте... Охранники удивлялись, какой бес в нас вселился. А потом нашелся доносчик, который нас продал. Можете себе представить, что началось! Мысль, что у нас есть то, до чего им не добраться, выдумка, иллюзия, которую они не могут отнять, которая помогает нам держаться, выводила их из себя. И они стали применять более действенные методы.

Однажды вечером Флюш едва дотащился до барака, и мне пришлось помочь ему добраться до своего угла. Он с минуту полежал, вытянувшись, с широко открытыми глазами, словно пытался что-то разглядеть, а потом сказал, что все кончено, что уже их не видит, даже не верит больше в их существование. Мы сделали все, чтобы его поддержать. Вообразите себе сборище скелетов: они окружили Флюша со всех сторон, испуленно тыча пальцами в воображаемый горизонт и описывая исполинов, которых не могут уничтожить никакое насилие, никакая идеология. Но наш Флюш утратил веру в величие природы, не мог представить, что на свете вообще существует свобода, что люди – даже в Африке – еще способны уважать природу. Все же он прилагал последние усилия, повернулся ко мне, скривил свою грязную рожу и подморгнул. «Один пока остался, – прошептал он. – Я хорошенько его спрятал, но заботиться о нем уже не могу... Чего-то мне не хватает... Бери его к своим. – Бедняга Флюш едва выдавливал слова, но глаза чуточку поблескивали. – Бери... Его зовут Родольф». – «Дурацкое имя, – сказал я. – Зачем он мне? Сам с ним возись». Тут он на меня так глянул... «Черт с тобой, – проговорил я, – так и быть, возьму твоего Родольфа, а когда тебе станет лучше, верну». Конечно, я только прикидывался бодрячком, а на деле понимал, что Родольф останется у меня. С тех пор так его за собой и таскаю. Вот почему, мадемуазель, я приехал в Африку, вот что я защищаю. И когда попадается мерзавец-охотник, который

убивает слона, возникает такое желание всадить ему пулю в самое нежное место, что я ночь не сплю. И вот еще почему пытаюсь добиться у властей принятия весьма скромных мер...

Он расстегнул портфель, вынул лист бумаги и старательно расправил его на стойке.

– Тут у меня петиция с требованием запретить охоту на слонов во всех ее видах, начиная с самого позорного: охоты ради трофеев или, как говорят, для удовольствия. Это первый шаг и не бог весть что. Право же, требование не такое большое, я был бы рад, если бы вы могли ее подписать...

Она подписала.

IX

Вот так, невзначай, они сделали первые шаги навстречу друг другу, завязав отношения, которые в Чаде не могли не создать вокруг них, особенно с годами, ореол легенды. «Я хорошо их знал» – эта фраза неизбежно привлекала внимание к тому, кто ее произносил с оттенком небрежности, которая только разжигает любопытство. В часы, когда особенно хочется выпить, такое заявление отменно помогало тем, чьи плантации хлопка не могли сравниться с посевами в долине Нила, о чьих золотых приисках было неприлично даже упоминать, от чьего обширного предприятия панафриканских путей сообщения остался лишь остов ржавого грузовика в какой-нибудь пересохшей речке. По правде сказать, у Мореля не было друзей, потому что почти все свое время он проводил в джунглях, а на его появление в Форт-Лами со смехотворной петицией, от которой все, пожав плечами, отмахивались, никто не обращал внимания. Никто, кроме Орсини. Потому что если и был человек «не из породы простофиль», правоту которого подтверждали дальнейшие события, это, конечно же, Орсини – ветеран, охотник, обладавший удивительным нюхом на врага. Разве не он с самого начала заявил, что это опасный тип и что подобная затея может свергнуть Африку в кровавую бойню? Разве не он тщетно предостерегал своим криком, странным, полным отчаяния и глумления, который, казалось, извечно издавало ночное зверье Чада и который был таинственным эхом стремлений, ему совершенно чуждых? И наконец, разве не он опасался «немчурь»? Разве не он распознал и тут важную ветвь заговора? Да, Орсини пережил часы своего торжества, но они были недолгими, и если он и стал частью легенды, то отнюдь не в том качестве, какого бы желал. Он совершил большую ошибку, этот Орсини: чересчур глубоко во всем увяз. Он обжегся о слишком сильный огонь, который притягивал его к себе. Он первый выследил дичь и затрубил в рог; страстно кинулся в атаку, почувствовав вызов в чрезмерно благородном возвышении человека: словно тот на десять тысяч метров возвысился над землей и стал на столько же выше Орсини. Он решил защищать свой уровень, свой масштаб.

Не считая Орсини, единственный, кто обращал на Мореля хоть какое-то внимание, был отец Фарг, человек, который вообще-то занимался главным образом прокаженными. Францисканский монах, раньше бывший казначеем ВВС Свободной Франции, человек необузданный на словах, вспыльчивый, добрый, склонный при случае стукнуть кулаком по столу. Во время долгого перехода из Леклерка в Чаде до Баварских Альп он досыта насмотрелся на гибель ближайших друзей и не терпел неверия в Бога уже потому, что оно лишало его за гробом общества товарищей по оружию, которым он был глубоко предан. Его рыжая борода, бычий загривок и речь, наивность которой отдавала богохульством, придавали ему вид распутного монаха – «я же не виноват, что у меня костяк такой», – однако он вел праведную жизнь в густых джунглях к северо-востоку от Форт-Ашамбо. Он славился своими бестактностями, самая знаменитая навсегда вошла в фольклор колонии. В историю она попала в Банги, на борту парохода, который ходил по Конго до Браззавиля, и все великолепие этой промашки усугублялось отчаянными усилиями отца Фарга ее избежать. Он позаимствовал из жаргона летчиков привычку обращаться к собеседнику с кличкой «рогач»; люди для него делились на «славных рогачей» и «злых рогачей». «Привет, рогач» – такова была в его устах форма обращения. Случилось так, что к моменту появления Фарга на палубе уже собралась компания, в которой был и некий Уар, чья репутация рогоносца давно установилась в округе благодаря молодой жене, которая открыто и щедро, ничуть не стесняясь, ему изменяла. Фарг подошел и стал поочередно пожимать руки, произнося свое обычное приветствие: «Привет, рогач», переходя от одного к другому. «Привет, рогач; привет, рогач; привет...» Он вдруг сообразил, что держит в своей лапше руку злосчастного Уара. И тут вздумал проявить

находчивость: «Здравствуйте, месье Уар!» – воскликнул он, радуясь, что наконец-то может показать, какой он тактичный, а затем продолжал здороваться с другими: «Привет, рогач; привет, рогач!» Вот он каков, этот отец Фарг, любимый миссионер прокаженных и страдающих слоновой болезнью. Он слишком долго прожил в самом сердце джунглей, в черном сердце человеческого страдания, чтобы не обозлиться; и вдруг в миссию Форт-Лами, куда он приехал ругаться из-за того, что лекарства пришли с опозданием на полтора месяца под предлогом отсутствия дорог, явился какой-то тип и ну совать ему под нос дурацкую петицию, речь в которой шла о защите слонов!

– Да провались они пропадом, ваши слоны, – огрызнулся преподобный отец, проявляя несомненную широту взгляда. – На этом материке бог знает сколько прокаженных, энцефалитиков, не говоря уже о сифилисе (чем меньше ешь, тем больше спишь с бабами). Да ведь дети тут дохнут как мухи, едва успев родиться, а трахома – о ней-то вы слышали? А спирохета, а слоновая болезнь? И после этого вы морочите мне голову вашими слонами!

Этот тип – Фарг никогда раньше его не встречал – выглядел так, словно вышел прямо из джунглей, в распахнутой грязной рубаше, крагах, с давно не бритой физиономией, – мрачно воззрился на монаха. Даже отец Фарг, не отличавшийся особой чуткостью, был поражен этим горящим, почти жестоким взглядом, в котором, как ни странно, поблескивала безудержная ирония. Он поправил очки и повторил уже для порядка и не слишком уверенно:

– А вы морочите мне голову вашими слонами...

Морель ответил не сразу. Он сжал кулаки, потом достал из кармана кисет и с минуту молчал, расставив ноги и свертывая сигарету, видно, для того, чтобы не дрожали от ярости руки. Наконец он поднял голову.

– Послушай, кюре, – сказал он. – Ну да, ты ведь кюре. Миссионер. Что ж... Ты из тех, кто по самую макушку в дерьме. То есть день напролет любуешься всякими язвами и уродствами. Бог с тобой. Видишь разные гадости; одним словом, человеческую беду. А вот когда ты на все это налюбовался, когда всласть нанюхался дерьма, неужели тебе не хочется вскинуть голову, взобраться на какой-нибудь холм и посмотреть на что-то другое? На что-нибудь красивое, свободное, совсем другое?

– Когда у меня возникает желание вскинуть голову и я чувствую, что нуждаюсь в другом обществе, то смотрю вовсе не на слонов, – огрызнулся отец Фарг, с силой стукнув кулаком по столу.

– Понятно, кюре, понятно. Тебе, как и всем, надо время от времени оглядеться, чтобы убедить себя в том, что еще не все загажено, не все истреблено, не все погублено. Тебе, как и всем, надо успокоить, убедить себя, что еще осталось на этом дерьмовом свете что-то красивое, свободное, хотя бы только для того, чтобы продолжать верить в своего Бога. Вот и подпиши здесь. И нечего так суетиться и дрейфить: ты не чёрту бумагу подписываешь. Просто чтобы больше не убивали слонов. Их приканчивают по тридцать тысяч в год. – Морель вдруг лукаво усмехнулся. – И вспомни, кюре, что во всех наших свинствах они не виноваты. Понимаешь, не виноваты.

– Кто? – рявкнул Фарг.

– Слоны, кюре, кто же, по-твоему, еще?

Фарг стоял с открытым ртом.

– Чтоб тебя... – Он вовремя осекся. Потом сказал: – Садись.

– И этот тип сел, – рассказывал потом Фарг отцу Тассену, который приехал его повидать и даже напугал доброго францисканца необычайным интересом, который выказал к этой истории; ведь он впервые заинтересовался чем-то, кроме ископаемых, чей возраст не менее ста тысяч лет. – И когда тип этот сел, мы с минуту друг друга разглядывали. Понимаете, негодяй прямо нож мне в спину всадил своими слонами, «которые ни в чем не виноваты».

Ведь этот рогач подразумевал, что виноваты люди, а что мне было ему ответить? Что он лжет? А грех? А первородный грех и прочая ерунда? Да вы все знаете получше моего. Он нож мне в спину всадил, взял на мушку мою веру. Я же человек дела: дайте мне оспу, желтуху, тут я в своей тарелке. А теории... Между нами говоря, вера, Господь Бог – они у меня в нутре, в кишках, а не в голове. Я не так уж мозговит. Предложил ему аперитив, но он отказался.

Лицо иезуита на миг осветилось, и даже морщины словно разгладились от молодой улыбки. Фарг вдруг вспомнил, что Тассен не в слишком большом почете у своего ордена; ему несколько раз запрещали публиковать свои труды; поговаривали даже, что его пребывание в Африке не совсем добровольно. Фарг слышал, что в своих сочинениях отец Тассен приравнивал вечное блаженство к обыкновенной биологической мутации, а человечество – такое, каким мы его пока знаем, – к некой архаической породе, обреченной так же исчезнуть в сумерках эволюции, как и другие виды. Фарг нахмурился: это пахло ересью.

– Я повторил, что если ему так не терпится забыть о людях, пусть обращается к чему-нибудь поистине великому, – зачем же хвататься за слонов? Было бы куда лучше защищать животное, которому гораздо больше грозит гибель в сердцах человеческих, а именно Господа Бога.

Фарг произнес последнюю фразу с таким простодушием и с такой наивностью, что слово «животное» прозвучало не как богохульство, а как грубоватое выражение сыновней любви.

– Он дал мне выговориться, а потом на его лице появилось что-то вроде улыбки. «Может, все это и так, кюре, но что тебе мешает подписать бумагу? У тебя ведь не душу твою требуют. Просто подпиши. Все, чего я хочу, – чтобы больше не убивали слонов. Не такой уж и грех. Чего же ты увертываешься?» Должен признаться, тут он меня поймал. Ведь верно, что мне мешает подписать? Я растерялся. Даже рот раскрыл, а сказать нечего. Но так как он продолжал совать мне под нос свою писульку, я наконец обозлился и вытолкнул его за дверь, вместе со слонами. Но что-то продолжало меня грызть. Почему же я не подписал? Дело-то плевое, не какая-нибудь политика, епископ мне и слова не скажет... Полночи заснуть не мог, все искал причину и в конце концов, по-моему, нашел.

Фарг кинул на иезуита хитрый взгляд, словно говоря: «Видите, почтенный, не такой уж я болван, как думают».

– Если согласиться с его болтовней, получается, что ты вовсе плюешь на тех, за кого отдал жизнь наш Спаситель. И подписываешься не столько в защиту слонов, сколько против людей. Не знаю, откуда что взялось, но мне вдруг почудилось, будто я какой-то изменник, ренегат. Шут его побери, на такое меня не возьмешь. Должна же быть у человека гордость. Не знаю, понимаете вы или нет...

Иезуит прекрасно его понимал.

– Я вспомнил о моих товарищах по эскадрилье, они ведь отдали жизнь за что-то стоящее, а он просто дурачит нас своими слонами. Будто, кроме них, и нет ничего на свете. А потом, я не люблю людей отчаявшихся.

Лицо Фарга налилось кровью, он снова треснул кулаком по столу.

– Как встречу человека, который уже ни на что не надеется, так и хочется лягнуть его в зад. Свины они, вот что!

Отец Тассен мягко прервал:

– Я бы очень хотел встретиться с этим молодым человеком.

– Встретитесь, будьте уверены, – проворчал Фарг. – Он небось до сих пор болтается в Форт-Лами и уж непременно сунет вам под нос свою петицию.

X

Но Мореля в Форт-Лами уже не было. Что же касается петиции, он ее разорвал, сохранив лишь тот клочок, где стояла женская подпись, на которую он часто поглядывал. Минна продолжала обслуживать бар, солнце продолжало отсчитывать часы на циферблате африканского неба по всем тем же отметинам: в десять утра – хижины рыбаков, бурые скалы за Шари в полдень; одинокие пальмы Форт-Фуру в четыре часа дня, а ближе к половине пятого – американский майор, который галопом скакал по противоположному берегу и пропал из виду вместе с солнцем; казалось, он бешено гонится за светилом, его рыжие волосы блестели в лучах заходящего солнца. Минна иногда встречала на базаре или в туземных кварталах этого неугомонного лохматого великана в старой летной тужурке – он ее никогда не снимал, – а как-то вечером увидела его на дороге в Майдагури, он лежал, уткнувшись лицом в пыль, а вокруг толпились негры, которые смеялись своим молодым необидным смехом – защитной реакцией на все тревобления жизни. Она велела погрузить майора в свой джип и вместе со своим безжизненным спутником явилась к полковнику Бэбкоку, у которого в тот день ужинала. Полковник был очень раздосадован; он с таким нетерпением ждал этого вечера наедине с Минной, которую регулярно, каждые три месяца, приглашал ужинать. Майора положили на террасе и накрыли одеялом, но когда, поужинав, они зашли его проводить, то нашли американца на ногах; он вглядывался в ночную мглу, обступившую дом, в это женственное лоно, в которой даже звери чувствовали себя в безопасности.

– В следующий раз, когда найдете меня в канаве, вы там меня и оставьте, – сказал майор, – или же, что еще лучше, ложитесь рядом, в ней очень удобно. Почувствуете себя как дома.

Глаза полковника блеснули.

– Машина стоит у дверей. Садитесь и уезжайте. Эта молодая дама, вероятно, спасла вас от воспаления легких, а вам надо, естественно, ее тут же оскорбить.

Американец захохотал:

– А вы, полковник Бэбкок, естественно, подумали, что мое предложение относилось к ней, а не к вам? Не пойму, откуда англичане набрались своего великолепного самомнения; но оно явно оборотная сторона их лицемерия. Успокойтесь, полковник, я говорю и о вас, вы тоже входите в великое братство обитателей канав. Разница между англичанами и остальными смертными только в том, что англичане давно и четко знают правду о самих себе, что им и позволяет тактично ее избегать, обходить стороной. Ваше проклятое чувство юмора – это способ жульничать, обезоруживать правду, вместо того чтобы помериться с ней силами. Было время, когда и я питал кое-какие иллюзии. Мне просто не повезло, в Корею я попал в плен к китайцам, и они потрудились мне разъяснить, что я такое. Или, точнее говоря, я узнал правду о них, что одно и то же. И несмотря на то что по рождению я южанин, я из оригинальности не стал расистом и вынужден признать, что они – такие же люди, как и я. Вы, конечно, знаете, что меня с позором выгнали из армии, ведь я признался по китайскому радио, что бомбил Корею зараженными мухами, а следовательно, моя страна ведет бактериологическую войну. Это, конечно, было неправдой, но странная вещь – правда или нет, результат всегда тот же. Совершили ли китайцы дьявольское мошенничество, или американцы завезли холеру в Китай – важно одно: вы все равно валяетесь в сточной канаве, полковник Бэбкок. У коммунистов одного достоинства не отнимешь: они смотрят человеку в глаза. И не посылают его в Итон, чтобы научить маскироваться. У Запада, может быть, и есть цивилизация, зато коммунисты придерживаются правды. И главное, не обвиняйте их в бесчеловечных методах, у них все как у людей. Все мы единая прекрасная зоологическая семья, не надо этого забывать! Вот почему, полковник Бэбкок, вы попали в сточную канаву.

Если вы даже спрячетесь у себя на острове и притворитесь страусом, то есть как поступает Англия, вам это не поможет: сточная канава вот она, перед вами, а вернее, в вас, ибо жижа из нее течет в ваших жилах. А засим сообщаю, что зовут меня Форсайт, я из Чарльстона, штат Джорджия, и был рад с вами познакомиться. Тем, кто живет рядом, надо друг друга знать. Спокойной ночи.

Он сбежал по ступенькам террасы и скрылся во тьме. Полковник дал отойти ему подальше, потом взял Минну под руку и тихо произнес:

– Бедняга. Как он ошибается... насчет Англии.

С тех пор когда в сумерки Минна видела на другом берегу Шари высокую фигуру на мчащемся галопом коне, она провожала ее взглядом, полным дружеского участия. Она не раз пыталась разузнать о Мореле, но его давно уже не видели в Форт-Лами. И когда однажды она подъехала верхом к хижине из высохшей глины, которую ей указали в туземном квартале, то нашла там только беззубую старуху: та мотала головой, махала рукой, но знать ничего не знала.

XI

Ну а потом события стали развиваться с такой пугающей быстротой, что весь город перешел от неверия к растерянности, потом к негодованию, а когда в Форт-Лами выгрузили с самолета специальные выпуски газет, все наконец почувствовали даже некоторый приступ гордости: поговаривали не без самодовольства – даже те, для кого это происшествие уже давно было горше хинина, – что подобная история могла произойти только в Чаде, в людях вдруг проснулось смутное томление. Ланжевьель, которому было разрешено отгонять стада слонов, постоянно топтавших его плантации и огороды туземцев, был доставлен на санитарном самолете в больницу Форт-Лами с пулей в бедре. Он ничего не видел и ничего не слышал. Просто в ту минуту, когда он собирался выстрелить в самого красивого самца из стада в сорок слонов, которые намеревались опустошить поле, его левую ногу прошила пуля. Люди заволновались: в Кано (в Британской Нигерии) вспыхнула борьба между сторонниками и противниками Федерации; на востоке мо-мо жгли и заливали кровью издавна самые мирные территории Африки; с севера грозно заявлял о себе ислам, арабы опять захватили древние дороги работорговцев; наконец, на юге Африки выходы буров разбередили в душах черных древние раны. Стрелявшего не нашли. А потом Хаас, двухметровый детина, распухший от укусов москитов в тростниковых зарослях Чада, где он ловил слонят и поставлял половине зоопарков мира африканских носорогов и гиппопотамов, был принесен на носилках в филиал больницы в Ассуа. Он рычал на своем родном голландском языке, извергал такие многословные ругательства, каких еще не слыхивали в колонии, хотя там имели кое-какой опыт. Задница у него была прострелена того же калибра пулей, которая так несвоевременно помешала прекрасному выстрелу Ланжевьеля. Хаас – этот оригинал – знал повадки слонов лучше кого бы то ни было. Его обуревали злость и бешенство, и лишь спустя два дня он смог отвечать на вопросы не одной только бранью. Лежа на животе – о нем заботилась медицинская сестра, которая посыпала, обрызгивала и смазывала задницу Хааса с суровым, но ангельским усердием, – он проклинал Шелшера, тщетно пытавшегося угостить его вонючими сигарами, но в конце концов с отвращением ворчливо сообщил кое-какие туманные сведения. Он, как и каждый вечер, пошел в загон, где содержались пойманные слоны. В то утро он заполучил новенького, просто младенца; слоненок стоял неподвижно, боком к загородке, несмотря на настойчивые приглашения других узников поиграть. Хоботом он обхватил ветку куста, словно надеялся, что из кончика этого воображаемого хвоста вдруг возникнет его мать. Еще утром он семенил за ней как положено: можно сказать, держа за руку, и Хаасу пришлось устроить целый фейерверк, чтобы большое животное обезумело и на несколько мгновений утратило материнский инстинкт. Стадо разбежалось в стороны, оставив самого маленького из детишек застывшим на месте: он стоял на прямых ногах и мочился от страха. Хаас обвязал ему шею веревкой и, сопровождаемый двумя черными помощниками, потащил за собой. Мать убежала со стадом, но, как видно, смелости ей было не занимать или сердце изнывало, потому что она с отчаянным ревом часами кидалась наудачу в заросли, вынюхивала, поднимая хобот, запах своего детеныша. Хаас прервал рассказ и мрачно поглядел на Шелшера.

– А вы знаете, что у слонов есть свой язык? – спросил он. – Каждый раз, когда мать зовет своего детеныша, который попался мне, я всегда слышу один и тот же звук. Три ноты. Вроде этого...

Он поднял голову и разразился на удивление выразительным ревом, полным неизъяснимой тоски. Сестра милосердия пулей влетела в комнату и хлопотала возле раненого.

– Бедный месье Хаас, ну потерпите же немножко, – взмолилась она. – Я вам сделаю на ночь укольчик.

Хаас произнес несколько слов по-голландски, и сестра поспешно удалилась.

– Короче говоря, эта мамаша казалась мне на редкость решительной, и я принял меры предосторожности. Лагерь находился всего в десяти километрах от места поимки, и я не был спокоен. Я посадил двоих негров на акации и приказал смотреть в оба. Перед заходом солнца поехал проверить, не дрыхнут ли они. Конечно, они дрыхли. Слоненок по-прежнему цеплялся за ветку и печально гудел... – Хаас тоже печально загудел носом. – Я его раза два шлепнул по заду и уже собрался возвращаться, но услышал знакомый шум урагана, который несся сюда по земле со скоростью в сто километров. – Он радостно ослабился. – Я его тысячу раз в жизни слышал, а еще чаще видел по ночам во сне, но всякий раз словно впервые, такое это на меня производит впечатление. Так и хочется взлететь вверх и там и остаться, верхом на облаке, с которого все видно. Этот шум, когда он стихает, будто делает землю более пригодной для житья. И почти в ту же минуту я увидел перед собой слониху – она появилась с резвостью горы, которая вот-вот на вас свалится. Я приложил приклад к плечу, но в тот момент, когда хотел выстрелить, получил пулю в задницу.

Шелшер задумчиво курил.

– Гора пронеслась в трех метрах от меня, словно не заметила, – продолжал Хаас. – Не заметила, и все. Ей как будто не было ни малейшего дела до моей репутации. В голове у нее умещалось только одно: ее детеныш. Она сбила загородку, слоненок впился в нее как блоха, и они рысью двинулись в чащу.

– А кто же пустил пулю? – спросил Шелшер.

В лице Хааса появилась хитреца.

– Да это же мой идиот Абду, – проворчал он. – Последний раз даю ему в руки ружье. Думал, наверное, спасти мне жизнь. Но рука дрожала...

– Я с вашими слугами разговаривал, – сказал комендант. – Вы им крепко вбили в голову, как надо отвечать, но недооценили престиж мундира. Все, что им известно, – что вас нашли залитым кровью и произносящим непотребные слова.

Хаас сделал вид, будто примирился с неизбежным.

– Ладно, приятель, я вам все расскажу как на духу, но пусть это останется между нами. Если правда выйдет наружу, я стану посмешищем всей колонии.

Шелшер молча ждал.

– А правда в том, что, когда я увидел, что на меня бежит слониха, совсем потерял голову, нацелился не туда и сам вlepил себе пулю в зад.

Шелшер встал.

– Хорошо, – сказал он. – Так я и думал. Не пойму только, почему вы покрываете того, кто стрелял.

Старый голландец поднял голову; лицо у него было серьезное и немножко грустное.

– Представляете себе, Шелшер, я ведь тоже люблю слонов. Думаю даже, что люблю их больше всего на свете. Если я взялся за эту профессию, то потому, что она позволила мне вот уже тридцать лет жить среди них, узнать их, и к тому же я понимаю, что каждого слона, которого ловлю, я спасаю от охотников, от клещей, ран и moskitov, да, moskitov. Слоны к ним особенно чувствительны. Но я загубил десятки слонят, прежде чем научился их кормить, прежде чем понял, например, что без грязной воды Чада, определенной к тому же температуры, онидохнут... И ведьдохли! Вы же видели лежащего на боку полумертвого слоненка, которыйглядит на вас такими глазами, что кажется, в них выразились все человеческие чувства, которыми мы гордимся и которых на самом деле лишены напрочь. Да, я тоже люблю слонов, до того, что, когда мне случается молиться – у каждого бывают свои минуты слабости, – единственное, чего я прошу, это чтобы после смерти я мог уйти с ними туда, куда они уходят. Остаться с ними, а не с вашим братом. И зарубите себе на носу, что я

ничего не видел, ничего не слышал. А насчет пули у меня в заднице – я ее заслужил. Да и кто вам сказал, что это пуля? Может, просто газы не туда вышли.

Он с вызовом посмотрел на Шелшера. А комендант спрашивал себя, что вынудило такого человека, как Хаас, жить тридцать лет в одиночку среди москитов Чада. Его всегда удивляла та искра мизантропии, что таит большинство людей и что может подчас разогреться и принять странные, неожиданные формы. Он вспомнил старых китайцев, которые не двинутся с места без любимого сверчка, о тунисцах, которые приносят с собой в кафе свою птицу в клетке, об индейцах Перу, проводящих целые дни, уставясь на зерна мексиканского кустарника, которые прыгают, потому что в них живут червячки. Он был немного удивлен, что Хаас верующий, – тут была какая-то неувязка; у Бога, правда, нет холодного носа, который можно потрогать, почувствовав себя одиноким, у него не почешешь за ухом по утрам, он не машет, завидя вас, хвостом, и не шагает по холмам, держа хобот по ветру и хлопая ушами, отчего лицо человека озаряется счастливой улыбкой. Его даже не поддержишь в руке, как хорошо разогретую трубку, но так как пребывание на земле может затянуться на пятьдесят, а то и на шестьдесят лет, неудивительно, что люди кончают тем, что покупают трубку или прыгающие зерна мексиканского кустарника. Он сам провел пять лет в Сахаре, во главе отряда колониальных войск, разъезжавших на верблюдах, и это были самые счастливые годы его жизни. Это правда, что в пустыне меньше нуждаешься в обществе, быть может, потому, что постоянно и почти физически общаешься с небом, которое, как тебе кажется, заполняет все вокруг. Шелшеру хотелось растолковать все это Хаасу, но годы в Сахаре поубавили коменданту красноречия, вдобавок он сознавал, что некоторые вещи, глубоко тобой прочувствованные, меняют свой смысл, обрастая словами, до такой степени, что ты не только не можешь выразить смысла, но и сам его теряешь. Он часто спрашивал себя, достаточны ли вообще мысли, может быть, они лишь нащупывают истину, не состоит ли подлинное зрение в другом и нет ли в мозгу у человека еще не использованных нервов, которые когда-нибудь превратят эти мысли в безграничное видение. Он сказал:

– Я не так уж уверен, что дело тут исключительно в животных.

– А в ком же, по-вашему?

Шелшер хотел ответить, что людям позволено нуждаться и в другом обществе, но почувствовал, что подобное замечание и даже сама мысль не вяжутся с мундиром, который он носит. Быть может, это запало в его сознание с тех пор, когда он был молодым выпускником Сен-Сира и весь его горизонт ограничивался узенькими погонами младшего лейтенанта. Лицо Шелшера было непроницаемо, но в душе он улыбнулся, вспоминая свою юность. Долгие годы мундир оставался для него символом того, чего он с самых ранних лет больше всего жаждал: преданности установленному порядку. Преданность исключала кое-какие поступки, кое-какие душевные движения. Поэтому он оставил свои размышления при себе, тем более что в последние годы все меньше и меньше испытывал потребность обмениваться мыслями с другими, главным образом еще и потому, что мысли принимали у него форму вопроса. У него не осталось ничего, кроме толики любопытства.

– В чем же тут дело, по-вашему, если не в слонах? – повторил Хаас уже угрожающим тоном.

– В другом, – неопределенно ответил Шелшер.

Голландец, прищурился, смотрел на него с крайним возмущением.

– Знаете, как вас тут называют? – проворчал он. – Солдат-монах.

Шелшер пожал плечами.

– Ну да, пожимайте плечами сколько влезет, а кончите вы свой век траппистом. Впрочем, всякий раз, когда я вижу офицера верхом на верблюде, в белом бурнусе, обутого в сандалии, с бритым черепом и стремлением поскорее вернуться в пустыню, то говорю себе:

вот еще один, кому не дает покоя память об отце Фуко. А что касается Мореля, вы глубоко ошибаетесь. Чего ради усложнять такое простое дело, как любовь человека к животному?

Шелшер встал.

– Самая большая услуга, которую вы можете оказать этому бедняге, – помочь нам его задержать. Не то в следующий раз он кого-нибудь убьет, и тогда уже ничего нельзя будет поделать. Его сгноят в тюрьме.

Он оставил угрюмо молчавшего голландца и вернулся к себе, думая только об одном: где же предел людской слепоте?

XII

Он провел следующие несколько дней в зарослях, отыскивая след Мореля, о котором ему сообщали со всех сторон. Вернувшиеся охотники клялись, будто видели того в одной из деревень, и каждый местный начальник был уверен, что Морель прячется на его территории, готовясь учинить какую-нибудь гадость. Шелшер стал уже сомневаться, действует ли Морель в одиночку, нет ли у него сообщников: трудно было себе представить, чтобы какой-нибудь белый мог переходить с места на место в джунглях без чьей-то помощи. Но всякий раз, допрашивая в деревнях туземцев, он встречал пустые глаза; стоило ему затеять этот разговор, как все переставало понимать, о чем идет речь. Шелшер вернулся в Форт-Лами около часу ночи, но едва лег спать, как был поднят с постели приказом: губернатор Чада требовал немедленно явиться к нему. Он поспешно оделся, проглотил кружку обжигающего кофе, вскочил в машину и, дрожа от холода, покатил по молчаливому, укутанному в звездный покров Форт-Лами. Попал он на настоящий военный совет. Губернатор в парадной форме, хотя и в расстегнутом кителе, – наверное, вернулся с какого-то приема, – с окурком, что торчал из бороды, которая то ли пожелтела от никотина, то ли такова была ее естественная окраска, диктовал телеграммы. С ним были генеральный секретарь Фруассар, чье желтое лицо напоминало подушку, на которой много и беспокойно спали; военный комендант Чада полковник Боррю склонился над картой, которую изучал с таким подчеркнутым вниманием, что оно скорее было похоже на позу, на способ устраниваться, чем на живой интерес; а также офицер де ла Плас, отличавшийся противной манерой становиться навтыяжку, как только начальство открывало рот. Чуть в стороне стоял инспектор по делам охоты Лоренсо, которого редко видели в Форт-Лами – он постоянно бродил где-то в холмах; чернокожий гигант не слишком хорошо разбирался в служебной иерархии, но из всех, кого Шелшер знал, он один мог рассуждать о львах, не навлекая на себя насмешек. Лоренсо, видно, был не то озабочен, не то возмущен.

Губернатор с нетерпением встретил вошедшего Шелшера:

– Ага, это вы... наконец! И вероятно, как всегда, ничего не знаете? Фруассар, сообщите ему.

Генеральный секретарь заговорил быстро, отрывисто, как человек, который всю жизнь имел дело только с телеграммами. Проблема заключалась в Орнандо...

– Может, вы все же слышали об Орнандо? – саркастически осведомился губернатор.

Шелшер улыбнулся. Вот уже три недели, как вся Экваториальная Африка твердила имя Орнандо. Его приезду предшествовало столько правительственных телеграмм, инструкций и секретных циркуляров, что казалось, даже москиты гудят это имя в уши осатаневших чиновников. Орнандо был самым знаменитым журналистом Соединенных Штатов: популярный обозреватель, которому каждую неделю внимали по радио и по телевидению более пятнадцати миллионов американцев, а поэтому из Парижа приказывали произвести на него хорошее впечатление. Там надеялись, что, вернувшись на родину, он употребит свое влияние на американцев в благоприятном для французского государства духе. Инструкции гласили, что месье Орнандо не должен заболеть дизентерией; что ему не должно быть слишком жарко, слишком тряско на дорогах, что его следует вволю снабжать дичью, так как охота на крупную дичь – главная цель приезда журналиста в Африку. И хотя в инструкциях не уточнялось, можно было понять, что в Париже пламенно желают, чтобы там, где будет ступать Орнандо, били фонтаны свежей воды, чтобы нежный ветерок ласкал кудри американца и ни один москит не укусил его царственную особу. Американец отличался высоким ростом и дородностью; мучнистый цвет лица и светлые курчавые, как у барашка, волосы. Трудные переходы он проделывал на чем-то вроде носилок, озирая до странности неподвижно.

ным взглядом реки, холмы и пропасти, мимо которых его несли. Трудно вообразить ту тайную причину, которая заставила Орнандо приехать в Африку охотиться на диких зверей, Орнандо, который, как говорили, единственным словом мог убить человека. Сопровождаемый братьями Юэтт – лучшими охотниками колонии, он уже убил двух львов, одного носорога, несколько грациозных антилоп, – если можно, конечно, говорить о грации подстреленного животного, – и, наконец, на рассвете третьего дня, на берегу Ялы – великолепного слона с бивнями в сорок килограммов – слон рухнул к его ногам со смирением покойника. Но через полчаса, когда Орнандо чуть-чуть отошел от лагеря, чтобы помочиться, он получил пулю в грудь и был со всей поспешностью доставлен в Форт-Ашамбо, где и лежал в бреду, – пуля едва не угодила в сердце, что дало возможность одному из конкурентов в США начать свое сообщение словами: «Оказывается, у него было сердце!»

– Так вот, – сказал губернатор, отодвигая кучу телеграмм. – Это произошло пять дней назад, а с тех пор единственное, что мне доподлинно известно по сообщениям из Парижа и Бразавиля, – это будто мною не слишком довольны. Да, такого не забудешь. Вот не думал, что правительственные телеграммы могут содержать столь прочувствованную брань, уж и не знаешь, что выбрать. – Он взмахом руки показал на стопку телеграмм у себя на столе. – У меня сорок восемь часов, чтобы арестовать Мореля. Потому что я, конечно, приписываю случившееся ему и надеюсь, он не заставит меня признать ошибку; наша версия сразу была такова: мы имеем дело со своего рода помешанным, с человеконенавистником, который вбил себе в голову, что должен защищать слонов от охотников, а сам из отвращения к людям решил как бы сменить свое естество. Белый, которого от неприязни к людям настиг амок², и он встал на сторону слонов. Лишь бы только это был он; нечего и говорить, что в противном случае придется допустить весьма неприятные предположения, особенно когда мо-мо, мягко говоря, пришли в движение...

– Пулю осмотрели? – спросил Шелшер.

– Она из того же ружья, из которого стреляли в Хааса и Ланжевьеля, – сказал Фруасар. – Сомнений быть не может.

– Надо вам сказать, что поначалу к нашему объяснению этого происшествия относились не очень благосклонно. В Париже во что бы то ни стало хотели представить трагедию как акцию местных политических террористов. Когда я стал настаивать на своей версии, со мной заговорили весьма резко. Сказали, что если тут и впрямь не замешана никакая организация, то у меня нет никаких оправданий. В конце концов, клянусь вам, мне просто дали понять, что я не справился со своими обязанностями, не сумев подстрекнуть мо-мо в Чаде. Видите ли, в глубине души эти люди убеждены, что колонизация, которая не вызывает подрывных действий и кровопролития, является неудачной. Может, в чем-то они и правы.

Шелшер знал, что под иронией старого африканца кроются усталость и глубочайшая горечь.

– Но должен признать, что свою точку зрения они потом изменили. Тут нам сильно помогла пресса. Кажется, впервые в истории наших колоний Чад занимает в мировой печати ведущее место. Она никогда не писала ни о наших дорогах, ни о нашей борьбе с болезнями, ни о сенсационном падении детской смертности, ни о боях с нацистами во время войны. Но на сей раз пресса на высоте. К нам даже послали специальных корреспондентов. Эта история, как видно, затронула широкие круги, что доказывает, что мизантропия, или, как вы предпочитаете ее называть, любовь к животным – явление массовое. Они даже красивые заголовки дали: киньте взгляд на телеграфные сообщения, и вы увидите, что газеты пишут

² Так малайцы называют безумие, сопровождаемое страстью к убийствам.

только о «человеке, переметнувшемся на другую сторону», и о последнем «честном разбойнике» – лично я не очень-то понимаю, о какой чести идет речь.

– А ведь все довольно ясно, не так ли? – спросил Лоренсо.

– Не будете ли вы любезны пояснить вашу глубокую мысль, Лоренсо? – осведомился губернатор. – Уже три часа утра, и от чиновников нельзя многого требовать.

– Я хотел только сказать, господин губернатор, что до сегодняшнего дня слоны не располагали оружием последнего образца. А поэтому в прошлом году в Африке можно было истребить тридцать тысяч слонов.

– Продолжайте, прошу вас.

– Тридцать тысяч слонов дают всего около трехсот тонн слоновой кости. А так как целью всякого хорошего правительства является увеличение продукции, я уверен, что в текущем году дела пойдут лучше. Не надо забывать, что только одно Бельгийское Конго поставляло в последние годы до шестидесяти тысяч слонов. Я уверен, что мы всей душой жаждем побить этот рекорд. При желании можно добиться того, чтобы Африка в целом убивала сто тысяч слонов в год, пока, если так можно выразиться, она не достигнет своего потолка. Ну, тогда можно будет перейти к другим видам животных...

Держа во рту сигарету, губернатор пристально глядел на пламя зажигалки. Шелшер заметил, что та – из слоновой кости. Стена за спиной губернатора была увешана слоновьими бивнями, любовно отобранными знатоком своего дела. Впрочем, это панно было творением нескольких его предшественников. Полковник Боррю прилежно вглядывался в военную карту колонии Чад с видом человека, поглощенного тем, чем ему положено интересоваться. Лейтенант де ла Плас фактически растворился в стойке «смирно», выполненной на удивление лихо. Один Лоренсо, как видно, чувствовал себя непринужденно. Он с интересом поглядывал на отчаянные знаки, которые делал генеральный секретарь.

– Продолжайте, прошу вас, – повторил губернатор с изысканной вежливостью.

– Я говорю, естественно, только о свежей слоновой кости: старые бивни, припрятанные туземцами, давно уже выторгованы у деревенских старост. К тому же вы знаете не хуже меня, что колонизация была частично произведена на трупах слонов: ведь это добыча слоновой кости позволила купцам покрыть расходы по первоустройству.

– Ну и что же? – не повышая голоса, спросил губернатор.

– А то, что пора кончать с охотой на слонов, господин губернатор. Этот Морель, может, и сумасшедший, но, если он сумеет пробудить общественное мнение, я пойду позвать ему руку даже в тюрьму.

Губернатор сидел за столом неестественно прямо. Шелшеру подумалось, что если ты не вышел ростом, то лучше всего держаться именно так. Он думал это не только о губернаторе. Лицо генерального секретаря выражало тоскливое беспокойство человека, который знает, что останется здесь и тогда, когда для остальных уже все будет кончено. Однако, когда губернатор наконец ответил, в тоне его не было и тени гнева – скорее в том сквозило дружелюбие.

– А вам не кажется, милый Лоренсо, что в наше время в мире есть цели, ценности, ну, скажем... гражданские свободы, которые стоят чуть дороже слонов, в похвальной преданности которым наш друг и вы тоже как будто хватили через край? Среди нас еще остались люди, не желающие отчаиваться, махнуть на все рукой и находить утешение в обществе зверей... В эту самую минуту люди борются и умирают в тюрьмах и лагерях... Нам еще дозволено в первую очередь радеть о них.

Он замолчал, уставившись на зажигалку, которую все время вертел в руках. Комнату освещала яркая люстра, но падавший за окно свет тут же гасила африканская ночь, в которую он не мог проникнуть. Губернатор потерял во время Сопrotивления единственного сына, и Шелшер с беспокойством спрашивал себя, знает ли и помнит ли о том Лоренсо.

– Конечно, господин губернатор, – тихо и даже грустно отозвался Лоренсо. – Но слоны – тоже участники этой борьбы. Люди умирают, чтобы сохранить в жизни хоть какую-то красоту. Какую-то естественную красоту...

Воцарилось молчание. Губернатор чиркал зажигалкой, которая отказывалась работать. Шелшер улыбался, удивляясь про себя той глупой радости, которую испытывает, наблюдая беспомощность некоторых человеческих жестов, даже самых незначительных. Генеральный секретарь поспешно поднес губернатору огонь, которым тот воспользовался не без раздражения: как и многим курильщикам, жест был ему важнее сигареты.

– Я вам еще кое-что скажу, Лоренсо. Человечество пока не достигло той покорности судьбе или... или одиночества, которые необходимы старым дамам, находящим утешение в болонках. Или, если предпочитаете, в слонах. Любовь к животным – одно, а отвращение к людям – совсем другое, и у меня о нашем друге сложилось собственное мнение. Вот почему я постараюсь упрятать его как можно быстрее за решетку и даже испытаю от этого некоторое удовольствие. И не потому, что меня ругает Бразавиль или Париж, мое положение устойчивее, чем у них. Я просто не люблю людей, которые принимают свой психоз за философское воззрение.

Он веско поглядел на Лоренсо поверх очков – этакий суровый старый школьный учитель.

– На сей раз я нахожу, что газетчики поняли все очень правильно. Этот тип пытается плюнуть нам в лицо. Пытается сказать, что он о нас думает. В прежние времена анархисты были против всякой власти, а наш друг пошел еще дальше. Однако, понимаете ли, я хоть и старик, но, несмотря на шестой десяток, еще не научился презирать людей. Что поделаешь, такое уж, видно, я ничтожество. Мое поколение никогда этим не отличалось. Наверное, мы – ужасные буржуа. А того типа, который приехал в Чад, чтобы устраивать демонстрации, я закатаю в кутузку, – так ведь у вас, офицеров, выражаются, полковник? Вы мне предоставите батальон стрелков, которые прочешут территорию между шестнадцатой и восемнадцатой параллелями, где нашего добряка видели в последний раз. Вы скажите Кото, что его осведомители должны принять участие в поисках и что для разнообразия я хочу видеть результаты.

– Было бы куда мужественнее запретить охоту на слонов, господин губернатор, – сказал Лоренсо. – Морель ведь утверждает то же самое, что я повторял вам в двадцати докладных записках.

– Вам стихи надо писать, Лоренсо, уверен, у вас станет легче на душе. – Губернатор встал. – А пока же я отправляюсь в Каноссу, иначе говоря, в Форт-Ашамбо. Должен передать месье Орнандо извинения правительства. Представляете, этот... этот господин, который, несмотря на всю шумиху, даже не умер, требует меня к себе, буквально требует! Невероятно, но факт. Увидимся через час на аэродроме.

Шелшер и Лоренсо вышли вместе. На улице еще стояла ночь. Они молча зашагали по дороге; ветер пустыни захлестнул их вихрями песка. Было холодно. Время от времени возникали диковинные силуэты, которые, казалось, плыли в облаке пыли. Порою во тьме странно сверкали светящиеся глаза, но луч фонарика высвечивал всего лишь бродячую собаку, которая тут же убегала, поджав хвост. Деревенские женщины своей царственной поступью направлялись к рынку, неся несколько яиц в узелке или корзину с овощами на голове. Шелшер знал, что часто они проделывали за ночь километров тридцать, чтобы продать в Форт-Лами горсть фисташек. Он знал также и то, что дело заключалось не в нищете, а в африканских обычаях. Прогресс безжалостно требует и от людей, и от целых континентов отказа от своеобычности, прощания с тайной, и на этом пути лежат кости последнего слона... Окультуренная земля мало-помалу вытеснит леса; дороги все больше и больше внедрятся в убежища диких зверей. Все меньше и меньше останется места для великолепия

природы. А жаль. Он улыбнулся и крепче сжал рукой трубку, наслаждаясь холодным воздухом, отчего дружеское тепло в ладони было еще приятнее, а холодный воздух так хорошо сочетался со звездами. Ему вдруг вспомнились слова Хааса: «Представьте себе, я иногда молюсь, чтобы после смерти мог уйти туда, куда уходят они», и подумал, что бы стал делать без своей трубки. Издалека их осветили фары грузовика, шедшего по правой дороге, и перед ними в завихрениях пыли заплясали две огромные тени. У выхода из туземной части города на дороге внезапно возник гигантский силуэт, на фоне пыльной пелены он тянулся в свете фар до самого неба, потом стал уменьшаться почти до человеческих размеров и обернулся американским майором, который прошел мимо них, согнувшись и пошатываясь.

– Бедняга, – сказал Лоренсо. – Интересно, что его мучает.

– Он год просидел в Корее в плену у китайцев, – отозвался Шелшер. – Поддался небольшому давлению и соблазнился кое-какими поблажками. Из тех американских офицеров, которые сочли более удобным «сознаться», что Соединенные Штаты ведут бактериологическую войну против китайского населения. А теперь ему нехорошо. Окопался в Форт-Лами. Еще одна история в пользу слонов.

– Вы считаете, что я был сегодня не прав?

– Нет.

– Я пытался говорить с позиции натуралиста. В конце концов, жалование мне платят именно за это...

Шелшер слушал рассеянно. Он не мог подойти к случившемуся только с точки зрения охраны африканской фауны. Под светлым небом, перед горизонтом, чьи пределы ограничивает только зрение, он ощущал наличие другой ставки в игре. Журналисты, быть может, не ошиблись, прозвав Мореля в насмешку «честным разбойником». А что, если он действительно один из тех маньяков, которые не видят ничего выше и дальше человека и кончают тем, что превращают того в нечто беспредельное, грандиозное, в эталон благородства, великодушия, в идеал, который и пытаются защищать? Это ведь подлинный поединок чести, в который Морель вступил в африканских джунглях. Бедняга! Шелшер поглядел вверх, на небо. Белый балахон придавал его фигуре в утреннем полумраке странные очертания. Он задумчиво посасывал трубку. Но, может быть, он и ошибается. Каждый смотрит по-своему. Если покушение на Орнандо и вызвало такой интерес во всем мире, то наверняка не столько из-за личности жертвы, сколько потому, что страх, озлобление и крушение иллюзий изранили сердца миллионов людей острием человеконенавистничества; оно побуждает многих следить с сочувствием, а то и с какой-то мстительностью за поступками влюбленного в природу француза – ведь он защищает ее от насилия, которое не обошло стороной и их самих. Чувство это не очень осознанное, не выражено вслух, но тем не менее присутствует.

Шелшеру нравился Лоренсо. Трудно было не любить душевный, слегка напевный голос, не любить самого чернокожего великана, который столь откровенно рассказывал о себе, думая, что рассказывает об африканской фауне.

– Я просто стараюсь выполнять свои обязанности. Вы знаете не хуже меня, какой урон грозит Африке, если она потеряет своих слонов. А мы к этому идем. Черт побери, как мы смеем говорить о прогрессе, когда истребляем вокруг себя самые красивые и благородные явления жизни? Наши художники, архитекторы, ученые, наши мыслители обливаются потом и кровью, чтобы сделать жизнь прекраснее, а мы в это время углубляемся в последние, еще оставшиеся у нас леса, держа палец на спусковом крючке автомата. Если бы этого Мореля не существовало, его надо было бы выдумать. Может, ему и удастся взбудоражить общественное мнение. Господи Боже, я, кажется, способен уйти к нему в заросли, в это ядро сопротивления. Потому что, правда ведь, все дело в этом – надо бороться с пренебрежением к последней земной красоте и к тем местам, в которых живет человек. Неужели мы уже неспособны бескорыстно уважать природу, живое олицетворение свободы, не ища пользы, без всякой

побочной цели, кроме желания время от времени ею любоваться? Свобода сама по себе анахронизм. Вы знаете, что от одинокой жизни в лесу у меня недержание речи, но мне плевать, что вы думаете. Я говорю для себя, чтобы успокоиться, потому что у меня нет мужества поступать как Морель. Ведь как необходимо, чтобы люди не только начали сохранять то, из чего им делают подметки или швейные машинки, но чтобы оставили про запас уголок, где можно иногда укрыться. Только тогда можно будет говорить о цивилизации. Чисто утилитарная цивилизация всегда дойдет до ручки, то есть до концлагерей. Надо оставить нам свободное пространство. И потом, вот что я хочу сказать... Право же, у нас осталась одна только Эйфелева башня, откуда можно посмотреть вниз на мироздание. Вы тоже, как губернатор, пошлете меня сочинять стихи, но имейте в виду, что люди никогда так не нуждались в общении, как сейчас. Им нужны все собаки, все кошки, все канарейки, все зверушки, каких только можно найти...

Он вдруг смачно сплюнул. Потом произнес, опустив голову, словно больше не смел смотреть на звезды:

– Людям нужна дружба.

XIII

Орнандо принял губернатора в больничной палате. Журналист едва мог разговаривать. Он лежал на спине, уставясь в потолок, и, когда в комнату вошел губернатор в парадном мундире и при всех регалиях, в его глазах блеснула обычная злоба. Секретарь, он же переводчик, потом рассказывал, что этот полный ненависти взгляд был первым признаком выздоровления. С тех пор как Орнандо подобрали, он ни разу не пожаловался, не произнес ни единого слова и молча истекал кровью; лицо американца большей частью выражало странное удовлетворение. Можно было подумать, что он считал естественным и даже в какой-то мере приятным то, что с ним произошло. Когда кто-то отважился заговорить о Мореле, он будто и не удивился и продолжал пристально смотреть в потолок. Потом потребовал, чтобы к нему явился губернатор. А сейчас внимательно разглядывал чиновника, безучастно выслушивал пожелания скорейшего выздоровления и сожаления, которые выражало ответственное лицо.

– Передайте ему, месье, – закончил свою речь губернатор, – что виновный понесет заслуженное наказание.

Секретарь перевел. Орнандо вдруг оживился. Он сделал попытку привстать и быстро произнес несколько слов. Секретарь явно растерялся.

– Господин Орнандо убедительно просит оставить стрелявшего в покое, – перевел он наконец. – Он настаивает.

Губернатор понимающе улыбнулся.

– Это крайне благородно со стороны господина Орнандо, пожалуйста, поблагодарите его. Мы сообщим в газеты о проявленном им великодушии, которое, я уверен, читатели оценят. Тем не менее правосудие воздаст этому типу должное. К тому же он совершил покушение не на одного господина Орнандо...

Орнандо вдруг разразился руганью. Он сумел, несмотря на повязки, приподняться на локте и, трясая головой от беспомощной ярости, словно топал ногами.

– Господин Орнандо просит напомнить, что каждую неделю его слушают пятьдесят миллионов американцев, – перевел вконец растерявшийся секретарь. – Он хочет сказать, что... что если хоть один волос упадет с головы покушавшегося, он, если понадобится, podnikнет против Франции такую кампанию в прессе, что ваша страна запомнит это на многие годы. Если этого человека не оставят в покое, он обратит все имеющееся у него влияние на то, чтобы подорвать престиж Франции в глазах своих соотечественников... – И поспешно добавил с мольбой в голосе: – Господин губернатор, я не знаю, учитываете ли вы, какое влияние имеет Орнандо в Штатах...

Орнандо приподнялся еще выше. На его лице выступили капельки пота, побежали струйками по жирной шее. Глаза расширились, выражая страдание; но, казалось, его причиняла вовсе не израненная плоть, оно словно было присуще им, как цвет зрачка. Губернатор стоял возле кровати с разинутым ртом. На миг воцарилось молчание, и с больничного двора донеслись детские голоса, хором разучивавшие суры Корана.

– Господин Орнандо предлагает лично вам двадцать тысяч долларов за то, чтобы вы оставили этого человека в покое, – пролепетал вне себя от ужаса секретарь; видно, он пока не успел проникнуться безграничной верой в человеческую низость, в отличие от хозяина.

Тут к губернатору вернулся дар речи. Он начал с того, что во все горло выкрикнул имя своего сына, погибшего в Сопротивлении. Потом перевел несколько фраз от имени Франции, побагровел и стукнул себя кулаком по ордену Почетного легиона.

– Во всяком случае, – бормотал переводчик; чувствовалось, что, если бы мог, он охотно залез бы под больничную койку, – во всяком случае, господин Орнандо сразу же пожертвует пятьдесят тысяч долларов на защиту этого человека, если его арестуют, чего он... чего он

делать никому не советует. Господин Орнандо рассматривает случившееся как... свое личное дело.

Орнандо откинулся на спину. Губернатор Чада изрек несколько высокопарных фраз по поводу «достоинства» и «чести», потом повернулся на каблуках, нахлобучил свой белоснежный шлем и вылетел из палаты с бородой торчком; люди видели, как он рухнул на заднее сиденье лимузина, бледный, прямой и «весь ощетилившийся, как зверь», по выражению одного сержанта; автомобиль проехал через Форт-Ашамбо, подняв облака пыли; казалось, что их подняла не машина, а губернаторская ярость, поэтому-то пыль долго и угодливо вилась за ним следом. На аэродроме он визгливо закричал на полковника, командующего гарнизоном, – такого тона от него еще никогда не слышали, – он был человеком вежливым и скорее добродушным, склонным к мягкому скепсису, оберегавшему и от излишних иллюзий насчет человеческой природы, и от неверия в нее, – и сообщил, что дает тому сорок восемь часов на поимку Мореля и доставку в Браззавиль в наручниках «этого мерзавца, этого подлеца, слышите?», – повторял губернатор, еще больше возвысив голос и сверля полковника суровейшим взглядом, словно обвиняя в скрытой симпатии к «человеку, желавшему изменить человеческую породу». В самолете он молчал, скрестив руки на груди и вызывающе поглядывая в иллюминатор, будто подозревал, что Морель прячется за каждой купой деревьев с ружьем в руках, готовый отрицать оправданность человеческого существования. Он хмурил брови, передвигал во рту мокрый окуроч, о котором совершенно забыл, взглядом метал молнии в Шари, в заросли, во все стада, которые могли находить там убежище, во все живое и уже вымершее, от допотопного птеродактиля до диких артишоков, перемещая окуроч из правого угла рта в левый и напрягая челюсти от негодования и ярости истого человекалюбца, который к тому же верит и в демократию. Он метал взглядом молнии в джунгли и заставлял себя вспоминать о Микеланджело, о Шекспире, об Эйнштейне, о техническом прогрессе, о пенициллине, о запрете клиторидектомии у пигмеев, в чем была его личная заслуга, о живописных и скульптурных шедеврах французского гения, о третьем акте «Риголетто» в исполнении Карузо – эту пластинку он держал у себя дома. Он думал о Гёте, о президенте Эррио, о нашей парламентской системе и каждый раз победоносно передвигал окуроч из одного угла рта в другой, мечая молнии в заросли и в Мореля, притаившегося там среди своих диких слонов, да, диких, он на этом настаивает! Он даст ему настоящий, беспощадный бой, в котором будет победителем. Губернатор летел высоко в небе, со скрещенными руками, со все более и более мокрым окурочком во рту, и утверждал свое превосходство. Он немало потрудился над собственным культурным уровнем и, слава богу, изучил гуманитарные науки. Петрарка, Ронсар, Иоганн Себастьян Бах – все прошли перед ним. Это была борьба за человеческое достоинство. При таких, как у него, ловкости и выдержке, при находчивости старого боевого радикал-социалиста он сумеет избежать тех ловушек, которые ставит незримый Морель. Он не позволил себе хотя бы на миг подумать о водородной бомбе, только быстро передвинул окуроч в другой угол рта и умело направил мысли в другую сторону, атакуя противника в его же окопах: он отдал дань благотворному действию атомной энергии, которая именно в Африке сделает пустыни плодородными. Его возвышенное положение – они летели в лазурном небе, на высоте трех тысяч метров над горами Бонго – настолько помогло губернатору в борьбе, что, сойдя с самолета в Форт-Лами, он пришел в хорошее расположение духа и стал тихонько напевать арию из «Фауста», сцена в саду – которую очень любил; вдохновенная красота, разве она сама по себе не ответ тем, кто поносит человечество, таким, как Морель и Орнандо? Он заявил ожидавшим его газетчикам – три специальных корреспондента прилетели в этот день из Парижа, и «Эр Франс» объявила о прибытии других на следующий день, – что мы имеем дело с проявлением человеконенавистничества и было бы ошибкой придавать ему политическую окраску; тут действовал в одиночку фанатик, человек, которым овладел амок или, если хотите, ставший одиночкой, как

тот слон, который, безнадежно израненный, покидает стадо и становится крайне агрессивным и злым. Журналисты записали слово «одиночка» и засыпали губернатора вопросами. Может ли он им сообщить какие-нибудь сведения об этом Мореле? Что на самом деле о нем известно? У кого-нибудь есть его биография? Верно ли, что это бежавший боец Сопротивления, который уже был депортирован немцами за свое участие в партизанской борьбе? Губернатор кинул взгляд на Шелшера, который утвердительно кивнул головой... Он получил телеграмму из министерства внутренних дел, где на Мореля имелось досье. Но губернатор счел более уместным отделаться шуточками. «Пока можно сказать только одно, – заявил он с добродушной улыбкой, – мы имеем дело с зубным врачом и вся эта смехотворная история объясняется тем, что пресловутый Морель просто помешан на слоновой кости». Послышались смешки, но губернатор понял, что взял неверный тон, и принял слегка уязвленный вид. Он сделал шаг к своей машине, но журналисты не думали расступаться. Правда ли, что Морель пытался вручить губернатору свою петицию, прежде чем прибег к партизанским действиям, но что его упорно отказывались выслушать? События в округе Уле вызвали необычайный интерес во всем мире, и, по-видимому, симпатии публики больше склоняются на сторону Мореля, на сторону слонов, чем... ну, словом, чем администрации. Правда ли, что в Африке убивают около тридцати тысяч слонов в год, всего лишь только для того, чтобы изготовить бильярдные шары и ножи для разрезания бумаги? Правда ли, что нынешних ограничений на охоту недостаточно? Журналист, задавший этот вопрос, был суматошливым человеком невысокого роста, в очках и с возмущенно вздернутыми бровями – у него у самого был диковатый и злобный вид; он подпрыгивал, словно ему не терпелось отбежать по малой нужде или уйти в партизаны к Морелю. Может ли губернатор сказать несколько слов об охране природных богатств Африки? Было бы очень удобно объяснить всю эту историю простой мизантропией; разве Морель не из тех, кто обладает очень высоким представлением о долге и обязанностях и кто, несмотря на все разочарования последнего двадцатилетия, не желает поступаться своей совестью? Корреспондент энергично поправил на носу очки, словно подчеркивая, что и сам идет в авангарде таких бойцов. На сей раз губернатор внимательно обдумал свой ответ: он отдавал себе отчет, что почва под ногами зыбкая. Он заявил, что любовное отношение к слонам – давнишняя французская традиция. Цель Франции – обеспечить слонам любую защиту, в какой те могут нуждаться. Он сам верный друг животных и может заверить журналистов – а они, в свою очередь, могут заверить своих читателей, – что им сделано все необходимое для охраны этих симпатичных толстокожих, которых мы любим с детства. Ему наконец удалось сесть в машину. Следом забрались Фруассар и Шелшер. Он был сильно взволнован неожиданным нападением прессы и тем значением, которое она явно придавала этой истории, и даже не заметил, что генеральный секретарь бледен как мел и выглядит совсем больным; выражение лица у Фруассара было жалобное, возмущенное, как у всякого хорошего чиновника во время землетрясения, сильного наводнения и прочих катастроф, грозящих потерей важных документов.

– Фу! – произнес губернатор, отирая лоб. – Ну, ребята, что вы на это скажете? Ни словечка об Орнандо! Их занимает только Морель.

– Газеты и в самом деле не пишут ни о чем другом, – через силу признал Фруассар. – Публику очень увлекают рассказы о животных. А тут столько романтики!

– Ну что ж, я не намерен дурачить изменников. Кстати, это наводит меня на мысль... Так как мне, несомненно, придется принимать у себя газетчиков, будьте любезны убрать со стен слоновьи бивни. Не то сами понимаете, что выйдет, если их сфотографируют.

Шелшер улыбнулся.

– Можете сколько угодно улыбаться, друг мой, но по их вопросам видно, кому люди сочувствуют. Я не ищу популярности у публики, это не в моем характере, но я не хочу про-

слыть кем-то вроде бесчувственного жандарма. Вот увидите, если мы скоро не поймаем этого негодяя, он станет чуть ли не национальным героем. А что говорят в Париже?

– Пока сказали все, что могли, господин губернатор. Зато...

Они проезжали мимо Медицинского центра вакцинации. Губернатор окинул здания хозяйским взглядом: с тех пор как его сюда назначили, детская смертность упала на двадцать процентов. Когда он проезжал мимо этого учреждения, на душе у него становилось веселее и теплее, как у доброго папаши. Лицо губернатора прояснилось. Фруассар, поймав эту улыбку, преподнес ему пиллюлю.

– Зато есть новости о Мореле.

Губернатор подскочил; быть может, это просто трянуло машину.

– Ну? Ну? Что там еще?

– Он напал на плантацию. Плантацию Саркиса. Сирийца там не было, но дом сожгли. Видно, он теперь не один: с ним целая шайка.

Странно, однако у губернатора даже отлегло от сердца и он словно успокоился. Шелшер наблюдал за ним с любопытством. Ему вспомнилось, что говорят о настоящих творцах: великие произведения – те, которые в конце концов ускользают от их понимания.

– Что ж, это мне нравится больше, – медленно произнес губернатор. – Теперь, по крайней мере, все ясно как день. Мы имеем дело с обыкновенным бандитом, который дошел до того, что стал грабить фермы. Да, это мне больше нравится. Если бы речь и правда шла о слонах, с ним ничего нельзя было бы поделаться... С легендами бороться очень трудно. Ну, а так колебаться нечего. Это просто разбойник, может быть, последний белый авантюрист в Африке...

Нельзя было равнодушно смотреть, с какой страстью человек защищал свое достоинство.

– Да, все это так, господин губернатор, – внушительно произнес Фруассар. – Он напал и на лавку слоновой кости Банерджи в Бангассе. Привязал индийца к дереву и прочел ему свою петицию...

Шелшер не мог сдержать улыбку при мысли о том, как Банерджи – самого изнеженного и безмятежно-жирного человека, каких ему приходилось видеть, – стащили посреди ночи с постели, привязали к дереву и заставили слушать невероятный текст при свете пожара, уничтожавшего собственный магазин индийца...

– Морель приговорил его потом, именем «Всемирного Комитета защиты слонов», или чего-то вроде этого, к шести ударам плеткой и конфискации имущества. И объявил, что намерен когда-нибудь поехать в Индию, чтобы и там вести свою кампанию, «потому что и азиатским слонам угрожает то же самое». Банерджи в больнице с нервным расстройством; он убежден, что это сумасшедший, который действительно верит в свою «миссию», но действует по чьей-то указке. А магазин сгорел дотла. Взяли все деньги, какие нашли, оружие и боеприпасы. Одну из женщин племени сара изнасиловали. Черные, бывшие с Морелем, – все из племени уле, и слуги опознали среди них двух или трех уголовников, в том числе знаменитого Короторо, сбежавшего три месяца назад из тюрьмы Банги. Но Банерджи клянется, что там было еще и несколько европейцев, и в том числе, судя по его весьма похожему описанию, датский естествоиспытатель Пер Квист, – он как раз находится в тех краях по поручению Музея естественной истории Копенгагена.

– В общем, никакой политики? – медленно спросил губернатор.

– Кажется, нет. Во всяком случае, впрямую...

Шелшер смотрел на двух чиновников, которые пытались мужественно сражаться с кошмарным призраком, обрушившимся им на плечи. Волей-неволей они находили в этом событии все свои навязчивые страхи, все причины бессонных ночей и даже суеверия. Они слишком гордились своим положением, чтобы не чувствовать, какую угрозу им оно теперь представляет. Впрочем, их успех, быть может, был не столь полным, как они опасались, а

деяния – не такими уж великими и прекрасными, чтобы вдруг зажить у них перед глазами независимой жизнью. Они забегали вперед, все преувеличивали и слишком далеко заглядывали. Но он вдруг ощутил к ним благодарность вместе с приливом теплого, почти братского чувства.

– Думаю, что не надо искать так далеко, господин губернатор. У нас должен быть более скромный взгляд, если можно так выразиться. Может, тут и мы виноваты, но пока что такая точка зрения на Чад еще преждевременна. Думаю, что все гораздо проще – и гораздо фантастичнее. Саркис – самый крупный охотник на слонов во всей округе. На него не раз накладывали штраф за организацию «карательных» экспедиций против стад, вытаптывающих поля, и за то, что он проводил их без контроля инспектора по делам охоты. Банерджи торгует слоновой костью... Думаю, что искать дальше нечего. Мы имеем дело с невысказанной затеей, а может статься, и с самым прекрасным происшествием в мире.

Фруассар бросил на него неодобрительный взгляд.

– Да, а уле – самое первобытное племя в Африке, – сказал губернатор. – Я с вами согласен, Шелшер. Мы становимся чересчур впечатлительными. Глупо припутывать сюда политику. Впрочем... – Он улыбнулся не без горечи. – Впрочем, ведь в Кении началось не иначе...

«Вот чего я никак не пойму, – загремел отец Фарг, угощая в тот вечер иезуита обедом, – почему все вели себя так, будто каждый лично был оскорблен или ему персонально что-то грозило. У всех у них был такой вид, словно этот злосчастный Морель плюнул им в лицо. Вы хоть что-нибудь понимаете?» Иезуит не мог удержаться, чтобы не поддразнить хозяина.

«Гордыня, гордыня!» – сказал он.

Отец Фарг забеспокоился: если что его и ужасало, так это профессиональный жаргон. «Ну да, правда, – поспешно согласился он, горько сожалея, что натолкнул собеседника на такую утомительную тему. – Съешьте еще курицы». Отец Тассен улыбнулся. Они отлично понимали друг друга. «Ведь это хороший признак. Люди начинают смутно понимать, что у человечества есть душа, совесть, то, что они зовут честью, независимо от каждого человека в отдельности. Гордость, но гордость всего человеческого рода, что уже похвально. Жаль, что орден относится... ну, скажем, с такой осторожностью к моим взглядам на этот счет. Что ж, надеюсь, что, когда я умру, мои рукописи все же опубликуют. Было бы интересно поглядеть, как человечество однажды вылупится из своих двух миллиардов коконов как единое живое существо». Фаргу такой поворот в разговоре совсем не нравился – он знал, что иезуит повсюду ездит с внушительным ящиком, набитым рукописями. Не хватало еще, чтобы ему дали что-нибудь из них прочесть. Одному Богу известно, что за непристойности там найдешь. «Мне достаточно молитвы!» – заявил он угрюмо с присущим ему тактом и принялся жевать курицу с такой яростью, которая исключала всякое другое занятие.

XIV

Форт-Лами никогда не слыл таким местом, где боялись почесать языки. А потому и теперь пересуды шли в соответствии с важностью событий. «Он» связан с мо-мо. «Он» напал на отдаленный военный пост во главе шайки чернокожих, убийц офицера или сержанта, и увел с собой в чащу солдат, так как пытается набрать легион для борьбы за независимость африканцев. «Ну, а как насчет слонов, милый мой, вы, стало быть, в это не верите?» Но люди, наоборот, в это верили. Они даже как будто удивлялись, почему нечто подобное не произошло раньше. Морелю в общем сочувствовали женщины, они жалели, что вовремя не обратили на него внимания, ведь все так романтично, так трогательно, ну почему и правда не оставить в покое этих бедных слонов? Пусть мужчины твердят, что слоны тут ни при чем, что он террорист, враг рода человеческого, – женщины желали видеть Мореля только в образе красивого молодого человека с горящими глазами, вроде Франциска Ассизского, но более энергичного и мускулистого. В «Чадъене» Минна переходила от столика к столику с накинутой на плечи шалью, ловя малейшие обрывки разговоров.

– Да, именно так она и поступала, – с легкой улыбкой сообщил иезуиту полковник Бэбкок, когда тот пришел навестить его в больнице через несколько дней после сердечного приступа, свалившего офицера. – Переходила от столика к столику с тем отсутствующим видом, какой бывает у людей, поглощенных одной мыслью, одной задачей; потом присаживалась, держась очень прямо, выслушивала последние новости – никто, конечно, ничего не знал, но у людей есть воображение, – не произносила ни слова, крепко сжав в руках концы шали, а потом поднималась и переходила дальше. Вопросов не задавала. Но казалось, что она чего-то с волнением ждет, ждет со все большим нетерпением; теперь, когда я об этом думаю, я точно знаю, какие важные сведения ей были нужны. Мы ведь не подозревали, что с ней происходит. Естественно – наш опыт ничего подсказать нам не мог... Я говорю главным образом о себе.

Лицо полковника было растерянным и осунувшимся; оно выражало скорее сердечные страдания, чем болезнь.

– Наверное, мне надо раз и навсегда объяснить свое состояние. Люди моего класса, моей среды получают определенное воспитание, вернее сказать, определенный взгляд на мир. Какой – неважно, какой уж есть. Вы, наверное, только усмехнетесь, если я скажу, что нас воспитывали для того, чтобы мы могли занять свое место среди других джентльменов. Мы, конечно, знали, что порой рискуем получить удар ниже пояса. Но нам привили убеждение, что такой удар противозаконен. Нам никогда не приходило в голову, что такой удар может быть законом, правилом. Можете, если угодно, считать меня старым идиотом, отставшим от жизни, но люди моего круга не имели никакого понятия об условиях, которые могут породить таких, как Морель или Минна. Я вам признаюсь, что еще и сегодня склонен видеть в Мореле только оригинала, правда, симпатичного, который всего-навсего решил защищать слонов от охотников. А в остальном...

Он с трудом повернулся на кровати, словно старался найти наконец удобное положение.

– Мнение, что причиной всему только презрение или даже отвращение к людям, что это... нечто вроде разрыва, плевка – да вы же знаете не хуже меня, что говорят, – было и до сих пор остается мне совершенно непонятным. Думать, что человек мог так далеко зайти в своем отрицании, в своем отказе, я хочу сказать – отказе от нашего общества, – чтобы и впрямь стремиться переменить свое естество, как о том писали... Мрачная, недостойная мысль, и мне трудно поверить, что в жизни существует нечто такое, что может ее оправдать. Но, очевидно, бывают обстоятельства...

Он бросил на иезуита горестный взгляд, который и на этот раз выражал отнюдь не физическое недомогание.

– Поймите меня правильно. Я не такой уж болван, но меня дурно воспитывали: мне не объяснили правил игры. Конечно, со временем и мы кое-что стали замечать. Англичан сажали в японские концлагеря. Бомбили Лондон, а потом та ужасная история на континенте с газовыми душегубками. Явно, как у нас говорят, «не крикет». Но мы воспринимали все это лишь как отвратительные, чудовищные случайности истории, как исключение. Мы продолжали верить, что тут просто нарушены правила игры, что идут удары ниже пояса. Нам и в голову не приходило, что, наоборот, в том, может, как раз и проявляются подлинные правила игры. Мы долго жили, укутанные в моральную вату, но фашисты и коммунисты в конце концов дали нам понять, что правда о человеке, быть может, у них, а не на зеленых лужайках Итона. Я не очень-то сам понимаю, почему говорю «мы», но просто хочу подчеркнуть, что в Англии было и, должно быть, еще есть немало таких кретинов, как я. Возможно, что наша так называемая цивилизация – всего лишь длительная попытка самообмана, чем как раз и занималась Англия. Мы глубоко верили в то, что людям свойственна элементарная порядочность. Однако я признаю, что мы, быть может, пережиток ушедшей эпохи и что бремя низменной действительности скоро заставит нас исчезнуть с поверхности этой планеты, ну хотя бы как тех же слонов.

Иезуит бросил на него пронзительный взгляд, но больной, по-видимому, не вкладывал в это сравнение особого смысла.

– Я рассуждаю просто для того, чтобы объяснить, как мне не хватало опыта, чтобы понять такое существо, как Минна. Требовалось быть куда теснее связанным с окружающей действительностью и с тем, что кроется в нас самих, – этой близости нет и у большинства моих соотечественников, – нас не поглотили те страдания, которые залили континент. Я, конечно, знал, что эта девушка много страдала, но не имел ни малейшего представления о том, сколько горечи накопилось в ее душе. Во всяком случае, ни сном ни духом не подозревал о том безумстве, которое она совершит, и что она задумала, быстрой походкой прогуливаясь среди посетителей «Чадьена». Она присела на минуту и к моему столику, и должен сказать, что улыбнулась мне как обычно; она всегда улыбалась, когда меня видела, думаю, что я ей казался смешным. «Ну, полковник Бэбкок, а что думаете вы?» Я ответил, что всегда испытываю симпатию к людям, которые любят животных, и что он совершенно прав, говоря, будто слоны практически истреблены в некоторых районах Африки; однако этот Морель слегка перегибает палку. «В Англии, – сказал я, – все наверняка уладило бы письмо в «Тайме», вслед за чем, под давлением общественного мнения, парламент принял бы соответствующие законы о защите африканских животных». Видите, какой я старый дурень: действительно верил, что дело только в этом. «У него, как видно, нет шансов спастись», – сказала она, словно сообщила мне то, что ей известно. Я согласился, что надежды на спасение у Мореля почти никакой. Никогда не забуду, как она тогда на меня посмотрела: потерянно, с мольбой, глазами, полными слез. Я поспешил добавить, что дело, наверное, обойдется годом тюрьмы, если за это время он кого-нибудь не убьет, что весьма вероятно. Спросил ее, не хочет ли она со мной что-нибудь выпить, – признаюсь, это было тактичным напоминанием о том, что я давно тут сижу, но ни один официант не подошел, чтобы взять у меня заказ. То был час, когда я выпивал первую рюмку виски, и я не хотел менять привычек. Но, по-моему, она меня даже не слушала. Сидела рядом, зябко кутаясь в серую шаль, и думала о чем-то своем, – явно не о моем виски. «Очень красивая, – я это сознавал всякий раз, когда ее видел, – очень красивая».

Полковник помолчал.

– Жаль, – сказал он, не поясняя, к чему относятся его слова. – Да, жаль.

Он снова помолчал, а потом продолжил:

– Я отлично видел ее рассеянность. Сказал ей, что она, видимо, чем-то озабочена. Она кинула на меня удивленный взгляд. Потом улыбнулась. Помню, она вдруг даже проявила дружескую симпатию и позаботилась, чтобы мне подали виски.

Полковник вздохнул.

– Что ж, я прекрасно себе представляю, что она тогда должна была обо мне думать. Она, конечно, подумала, что я – старый дурак, который ничего не понимает. Но, может быть, она думала обо мне не без теплого чувства, – должна была знать, что войска, которыми я командовал, никогда никого не насиловали. Тут она пошла распорядиться, чтобы мне подали виски, потом опять вернулась за мой столик и знаете что сделала? Взяла меня за руку. К сожалению, должен сказать, что я не из тех мужчин, кого женщины прилюдно держат за руку. Уже спускались сумерки, но на этот раз знаменитые африканские сумерки, которым всегда так некогда, как будто не стали спешить. Большинство людей в «Чадыене» знают меня и должны были понимать, что тут какое-то недоразумение, но я все равно был порядком смущен. Вдобавок не знал, что ей на это сказать. Я удовольствовался тем, что слегка кашлянул и грозно огляделся вокруг на случай, если кто-то решит надо мной посмеяться. Но самое неприятное было впереди. Ибо когда я вот так сидел, держа свою руку в ее руке и не решаясь убрать, чтобы не показаться невежей, я вдруг почувствовал на тыльной стороне ладони какую-то влагу – слезы! Она плакала. Изо всех сил сжимала мою руку и плакала. Я открыл рот, чтобы что-нибудь сказать, все равно что, попытаться ей помочь, ободрить, но тут услышал ее смех. Ну да, смех. Должен сказать, я был как громом поражен. И когда я уже больше ничего не понимал, то вдруг услышал, как она произносит срывающимся голосом, рыдая так громко, что вся терраса могла ее слышать: «Ах, полковник Бэбкок, вы такой хороший!»; а потом эта девушка, Минна, вдруг поднесла мою руку к губам и поцеловала!

Полковник тяжело вздохнул:

– Что она хотела этим сказать и что я должен был сделать или что не сделал, чтобы заслужить поцелуй, для меня до сих пор тайна. Я себя иногда даже спрашиваю, не начался ли в ту минуту мой сердечный приступ.

Он прервал свой рассказ и с укором поглядел на иезуита.

– Я не очень хорошо помню, что тогда говорил или делал. Но она, как видно, поняла мое состояние и отпустила мою руку. А может, мысли ее уже были далеко. Полагаю, что именно так, и она больше обо мне не думала. «Но еще есть какое-то время, правда?» – спросила она. Я не имел ни малейшего понятия, что она хочет сказать. Был совершенно растерян. Зажгли лампы, и у меня было отчетливое впечатление, что все наблюдают за нами с улыбкой. Вы спросите: а почему вас так заботит, что думают другие? Но кому же хочется быть посмешищем, а старым английским полковникам в отставке не более других. Вы скажете, что в моем возрасте подобные вещи уже не имеют значения. Но может, кое в чем человек никогда не стареет. А в шестьдесят три года так же неприятно, когда молодая женщина не считает тебя мужчиной, как если в шестнадцать она считает тебя еще мальчишкой. И куда неприятнее, когда молодая женщина вдруг начинает обращаться к тебе как к отцу, даже если ни одна из них никогда не воспринимала тебя иначе...

Иезуит жестом показал, что все понимает. Он пожалел, что люди прошли мимо полковника, не уделив ему чуточку больше внимания. Это была веточка, мельчайший побег эволюции, за которым человечеству стоило бы понаблюдать поприлежнее. Порядочность: вещь, далекая от великих устремлений, от гениальности, от грандиозных возможностей, но тем не менее – поворот, у которого человеку следовало задержаться подольше. Он преклонился перед чувством юмора, потому что оно было едва ли не лучшим оружием человека в борьбе с самим собой.

– В конце концов я понял, что она говорит о Мореле, – продолжал полковник. – У меня, право же, отлегло от сердца. Я ей сказал, что Морель может еще какое-то время оставаться на свободе, но что это все же только вопрос дней.

Полковник слегка пошевелился.

– Она слушала с необычайным вниманием, прямая, напряженная, наклонившись ко мне, сжав руки почти до боли. Видите ли, она не скрывала своих чувств, да, не скрывала, должно быть, понимала, что со мной ничем не рискует, что я все равно ничего не пойму. Она, наверно, сказала себе, что когда надо, чтобы женщину не поняли, на джентльмена всегда можно положиться. Признаться, я полностью оправдал доверие. Я сидел и спокойно готовился объяснить, что у Мореля нет никаких шансов спастись, что он, вероятно, доведен до крайности, что всякого белого, который один бродит по джунглям, рано или поздно выдадут негры из соседних деревень. Она слушала меня с той страстью, какую другие вкладывают в свою речь, если можно так выразиться, ее молчание было красноречиво.

Полковник умолк.

– Не знаю, помните ли вы ее глаза, – заговорил он немного погодя. – Серые, светло-серые; казалось, они постоянно и горестно вас о чем-то спрашивают. Между ее глазами и тем, через что она прошла, была какая-то несообразность, но, в конце концов, солдаты же не заметили их в темноте или смотрели в сторону... В них светилась поразительная невинность, может быть, просто из-за цвета; это были глаза, которые все видели, но одержали победу. Должен добавить, что голос ее был совсем не похож на эти глаза, вероятно, из-за немецкого акцента. В нем ощущалась тяжеловесность, многоопытность... Впрочем, Минна много курила... Словом, я как раз собирался ей объяснить, что арест Мореля – вопрос нескольких дней, что у него нет никаких шансов спастись, раз он один и прячется в джунглях, когда Минна меня прервала.

«Но он же не один, – сказала она. – Я разговаривала с корреспондентами, и все они говорят то же самое: очень многие ему сочувствуют. Если бы только он о том узнал...»

И вот тогда я произнес самую большую глупость за всю свою жизнь – а у меня за плечами сорок лет военной службы. «Что ж, – сказал я ей, – вижу, что и вы тоже любите слонов». Она мне улыбнулась, метнула на меня, как показалось, явно дружеский взгляд и снова дотронулась до моей руки. Потом поднялась и отошла. Я остался наедине с трубкой, пытаюсь принять безразличный вид, но мне всегда было больно, когда Минна от меня уходила. С тех пор как я постарел, мне все больше и больше нужно чье-нибудь общество. Я посидел еще немного, потому что она переходила от столика к столику и могла ко мне вернуться. Иногда она возвращалась, два, а то и три раза за вечер – я появлялся на террасе около шести и, если мне не хотелось уходить домой, там и обедал; она обычно подходила, когда я заказывал обед, а потом – когда подавали кофе, но это, конечно, зависело от того, сколько там в данный момент было людей. Я никогда заранее не мог быть ни в чем уверен. В субботу вечером я никогда не приходил в «Чадьен», терпеть не могу толпу. И она обо мне забывала!.. Я хочу сказать, что не мог добиться, чтобы меня обслужили. Понедельник был самый лучший день, она была гораздо свободнее. Полчаса я только издали следил за ней взглядом. Я часто на нее смотрел – и совсем не потому, что она была красива и грациозна, хотя такой, безусловно, и была, но чтобы увидеть, не приближается ли она опять к моему столику; у меня было впечатление, что она чувствует себя немножко одинокой, и мне не хотелось делать вид, будто я ее избегаю. Я посвящал ей, таким образом, весь вечер – оставался обедать на террасе – и чувствовал, что она мне за это признательна. Я смутно догадывался, что она нуждается в чьем-либо дружеском присутствии. У меня большой опыт в смысле одиночества, и я знаю, как приятно присутствие, даже отдаленное, кого-то, кто тебе симпатичен. Я не очень-то любил «Чадьен», во-первых, потому, что цены там неприлично высокие, и еще потому, что там постоянно видишь одни и те же лица, но чуть не каждый

вечер все равно туда ходил, из-за нее – она всегда улыбалась, когда видела, что я вхожу, думаю, что она по-своему была ко мне привязана. А если бы не Минна – само местечко пре-противное, со своими насекомыми и всегда одними и теми же пластинками; там есть одна под названием «Помни забытых людей», – я бы ее с наслаждением разбил; а этот жуткий тип Орсини, чей голос слышишь, как только входишь...

Должен сказать, что мне стоит больших усилий быть с ним любезным, я считаю необходимым проявлять терпимость, ведь хорек не виноват, что он воняет. Ты не имеешь права показывать людям, что они тебе неприятны. Поэтому я всегда старался демонстрировать ему свое хорошее отношение. Кончилось дело тем, что он стал воображать меня одним из близких друзей, как-то раз, с какой-то слезливостью в голосе, даже сказал мне, что я его единственный друг, – до чего это было противно, но я был вынужден время от времени приглашать Орсини к себе, чтобы он не обиделся, и кончилось тем, что я его так возненавидел, что один вид его вызывал у меня головную боль. А это вынуждало меня прилагать еще больше усилий, чтобы не показать свое настоящее отношение, то есть то чувство, которое я не считаю себя вправе испытывать к любому человеческому существу и тем более проявлять. А в результате мы часто проводили вдвоем вечера – у него или у меня на террасе, глядя на звезды, и должен сказать, что этот несчастный был до того мне противен, что в конце концов вызвал отвращение и к звездам только потому, что он был тут, рядом, и на них глядел. Он как будто даже любил это занятие и находил звезды красивыми. И в том, по-моему, тоже было что-то отвратительное. Если такой человек, как он, любит звезды, значит, они совсем не то, что о них думают. Вот так мы частенько проводили вдвоем вечера, и мне приходилось выслушивать, как он всё и всех поливает грязью. Когда Орсини сидел рядом со мной и молча, мечтательно глядел на звезды, мне казалось, будто он просто спрашивает, как ему до них доплунуть. В какой-то степени ему это даже удавалось, потому что он занимался тем, что оплевывал Минну, утверждая, что она спит с кем попало. Когда я говорю о звездах в связи с Минной, разумеется, это не из каких-то глупых романтических побуждений, они мне уже не по возрасту, а просто чтобы подчеркнуть: для Орсини она была так же недосыгаема, как самая далекая звезда на небосклоне, и он утешался тем, что ее чернил. Я вообще не выношу, когда о женщинах говорят дурно. Вы меня спросите, как же я мог терпеть, что Орсини говорит это мне, мне одному, на террасе моего дома, в пяти километрах от ближайшего соседа? Но он был человек подозрительный, недоброжелательный, и, если бы я призвал его к порядку, он мог бы еще обвинить меня бог знает в какой ерунде – ну хотя бы в том, что я тайком питаю к этой женщине определенные чувства. Этот тип во всем видел только низость. К тому же, если бы я запретил ему рассказывать о ней такие истории, а по-другому разговаривать он не умел, он бы вообще перестал о ней со мной говорить. Иногда я даже спрашивал себя, не терплю ли присутствие этого человека два-три раза в неделю только потому, что он единственный, кто мне о ней говорит. Я хочу сказать, что таким образом мешал ему выливать свои потоки грязи в другом месте, перед людьми, которые оказались бы доверчивее моего. Видите, в какое удручающее положение я себя поставил? Тем более что в конце концов я почувствовал, что веду себя с Орсини нечестно, а это вынуждало быть с ним вдвойне любезным, особенно на людях, чтобы меня нельзя было упрекнуть в лицемерии, которое так охотно приписывают нам, англичанам. И в конце концов все нас стали считать друзьями, хотя я-то презирал Орсини больше, чем кто-либо в Форт-Лами. В тот вечер он находился в другом конце террасы и в присутствии черных официантов, понимавших каждое его слово, громил туземцев за то, что те будто бы помогают Морелю только для того, чтобы все думали, будто в Чаде происходят такие же беспорядки, как в Кении. Это была одна из тех идиотских выдумок, которые так вредят нам в Африке. Я так разнервничался из-за этой чепухи, что потерял Минну из виду, но тут же увидел ее совсем рядом, у одного из столиков. Я встал. Вспоминаю теперь, что сердце у меня в этот момент вдруг заколотилось

– явный признак того, что я уже тогда был нездоров и что резкое движение заставило его бешено застучать. Но я тогда не обратил внимания.

Полковник Бэбкок призадумался.

– Думаю, что больше всего поражали ее глаза. Высокая, очень хорошо сложена (помоему, о дамах говорят, что у них хорошая фигура); волосы совсем светлые, лицо... и губы... скорее пухлые, скулы высокие и эти глаза, которым вы верите. Когда я глядел на нее, почему-то всегда немножко щемило сердце. А когда она говорила, я почти забывал о ее акценте. Она села в плетеное кресло и на минуту отрешенно застыла, уставившись куда-то за мою спину, на другой берег Шари, – я чуть не обернулся, чтобы узнать, что ее так привлекает. «Орсини заявляет, будто ему оказывают помощь туземцы, – сказала она. – Правда ли?» Я сказал, что это утверждение кажется мне абсурдным. «Единственное, что представляет для туземцев слон, – это мясо, – сказал я. – Уж вы поверьте, красота африканской фауны им глубоко безразлична. Когда стада вытаптывают посевы и администрация приказывает убить несколько животных, на месте всегда оставляют тухнуть несколько туш в назидание другим. Но стоит чиновнику из Управления охоты отвернуться, как черные пожирают мясо и оставляют один скелет. Что же касается красоты слона, его благородства, достоинства и прочего – все эти понятия чисто европейские, как и право народов распоряжаться своей судьбой». Она недовольно повернулась ко мне. «Человек вам верит, полковник Бэбкок, он взывает о помощи в своей попытке что-то спасти, сохранить, а вы не находите ничего лучшего, как холодно рассчитывать его шансы на спасение, словно все это вас совершенно не касается! Он верит в природу, в том числе и в человеческую, на которую вы все только клеветаете, он думает, что можно еще что-то сделать, что-то спасти, что еще не все непоправимо изуродовано». Я был так поражен этим неожиданным взрывом, этими словами – вы же понимаете, главным образом потому, что они исходили от нее, после того что с ней было, что она... ну, скажем, видела своими глазами, – даже выронил трубку изо рта. «Но, дорогое дитя, – пробормотал я, – не понимаю, при чем тут забота об охране африканской фауны...» Она меня перебила: «Бог ты мой, да поймите же, полковник Бэбкок... Неужели вы не догадываетесь, о чем речь? Дело просто в том, верите ли вы в себя, в свой здравый смысл, в свою душу, в свою возможность уцелеть, да, вот именно, уцелеть, вам и всем, таким, как вы. Там, в чаще бродит человек, который в вас верит, верит в то, что вы способны на доброту, на душевную щедрость, на... на великую любовь, которую проявите и к последнему псу!» Глаза Минны были полны слез, и, глядя на ее светлые волосы, на чудесное лицо, я подумал, что она и впрямь права. «Если уж вы, англичане, не понимаете, о чем идет речь, тогда и Англия – тоже обман, басня, ein Wintermärchen», – договорила она по-немецки. Потом встала, пересекла террасу, и я ее в тот вечер больше не видел. Я пытался собраться с мыслями. «Ein Wintermärchen». Наверное, это означает волшебную сказку. Я не очень хорошо понимал, что она хотела сказать. Неужели ожидала, что вся Англия, во главе с Уинстоном Черчиллем, встанет на защиту слонов, выстроится в ряд с Морелем, будто вся страна – громадное общество по охране животных? Однако Минна как будто хотела сказать, что дело тут вовсе не в животных; а в чем же тогда, интересно знать? Я не очень-то понимал, в чем она меня упрекает, но смутно чувствовал какую-то вину. Чего вы хотите. Старые полковники в отставке, вроде меня, не созданы для того, чтобы попадать в такие переделки. Я всю ночь не сомкнул глаз. Ворочался с боку на бок, видел перед собой ее лицо; был уверен, что она права, раз так мучается. Я понимал, что каким-то образом не оправдал ее доверия, а так как в этом уголке земного шара у меня, кроме нее, никого не было – есть еще, правда, троюродная сестра, но в Англии, в Девоншире, – мне стало грустно и показалось вдруг, что, может, она была ко мне не совсем справедлива. Видите ли...

Полковник поднял голову. Лицо у него было усталое, глаза запали, черты заострились. Но взгляд, несмотря на страдания, был бодрый, и он до самого конца находил опору в чувстве юмора.

– Право, не знаю, как лучше сказать... Видите ли... у меня такое впечатление, что я всегда, всю мою жизнь, если можно так выразиться, уважал слонов...

XV

Журналисты горели нетерпением; таинственные «доверенные лица» выманивали у них крупные суммы, обещая отвести к Морелю, а потом исчезали вместе с деньгами, полученными якобы на покупку «нужных пособников и снаряжения»; подонки общества, которые, казалось, уже давно похоронены в глуши Чада, вдруг выплыли на поверхность с важным видом, за которым пряталось изумление, что им еще раз удалось быть принятыми всерьез. Они назначали тайные встречи журналистам: «вы же понимаете, что нас не должны видеть вместе, я посвятил всю жизнь тому, чтобы заслужить доверие туземцев, и вовсе не желаю его обмануть»; мелькнув на виду, благодаря насмешливому попустительству всего Форт-Лами, они успевали несколько раз пообедать в обществе, произвести сенсацию, появившись на террасе «Чадьена» в костюмах с иголки и новеньких панاماх – это и было «снаряжение», – а потом, после грандиозной пьянки, так же неслышно исчезали и снова возвращались в свою тину, куда наверняка погружались со вздохом облегчения. А в это время люди утверждали, будто на юге гремят тамтамы, разнося по джунглям приукрашенные вести о подвигах Мореля; что туземцы, известные своим враждебным отношением к белым, в частности Вайтари из племени уле, присоединились к нему и вместе с ним нападают на плантации; что Морель на самом деле – коммунистический агент. Говорили... и да чего только не говорили! Колония облегчала душу, сваливая на Мореля все свои тайные страхи. Потом объявился Сен-Дени – выбрался из своей глуши; он выполнял административные обязанности по округу Уле с такой самоотдачей, что с каждым годом все больше хирел – от него остался только лысый череп, черная борода да глаза, горящие безумной мечтой о гигиене и повсеместной охране здоровья; он придумал этой истории более жалкое, человеческое измерение и сообщил, что встретил в чаще Мореля, полумертвого от лихорадки, тот был один и без оружия. Когда Сен-Дени спрашивали, где он его встретил, он долго, с легким удивлением, но нисколько не сердясь, изучал лицо собеседника, а потом с таким добродушием и точностью сообщал долготу и широту, что никто больше к нему не приставал. Да, он встретил Мореля в чаще, и тот попросил хинина. «И вы ему дали?» «Конечно, дал, он ведь еще не знал, с кем имеет дело. Ничто, – простодушно заверил он журналиста, устремив на него свой горящий взор, полный мистического огня, за которым пряталось непомерное безбожие, – ничто во внешности Мореля не давало повода усомниться, что он принадлежит к людской породе». Поэтому он и дал хинин. «Надо как-нибудь изобрести способ, который позволит отличать людей от других особей, – рассуждал он вслух, – установить критерий, позволяющий, несмотря на всю видимость, сказать, что вот это – человек, а вон то – нет, выдумать нечто вроде таблицы логарифмов, которая позволит вам немедленно разобраться, а может, новые законы, как в Нюрнберге... А вы, господа журналисты, специально приехавшие издалека, прямым ходом из области высочайшей цивилизации, вы, господа журналисты, могли бы внести сюда ясность, пользуясь достижениями современной науки». Потом Сен-Дени обождал, пока стихнет брань, и добавил, выпятив грудь, как петушок, ошипанный в тысяче боев, но еще готовый драться: «Я ему дал даже боеприпасы». Раздались охи и ахи, он понял, что не пройдет и получаса, как его снова потянут к губернатору, с которым он уже имел бурное объяснение. «Да, я дал ему боеприпасы. Станьте на мое место; я ведь не знал, что встретился с дикарем, с фанатиком. Я шесть недель был в походе, инспектируя одну из тех знаменитых пограничных зон, которые мы отвоевываем у мухи цеце. И ничего не знал. Из высокой травы выходит белый, говорит, что, переправляясь через Обо, потерял охотничьи припасы, и спрашивает, могу ли я ему немного помочь. Я и помог. Он мне сказал, что он натуралист, изучает африканскую фауну; я ответил, что это благородное дело, – вот и весь сказ». Позже, когда и Сен-Дени был вынужден, как и все, без конца мусолить «отчего» и

«как» в деле, где каждый видел не больше того, что ему хотелось, после того как от всех событий остались только долгие звездные африканские ночи, за которыми всегда сохраняется последнее слово, Сен-Дени признался иезуиту, что в ту минуту он почувствовал рядом, с почти физической осязаемостью, мучительную женскую тревогу.

Она прислушивалась к тому, что он говорил, но с таким вниманием, что он даже повернул к ней голову – ему казалось, что его окликнули.

– Она стояла в тени, держась за концы серой кашемировой шали, и в ее полной напряженности неподвижности было то, что я до сих пор мог представить себе только по греческим трагедиям. Стоило мне ее увидеть, такую прямую, застывшую за спиной у этой жалкой своры, готовой меня бранить на все голоса, стоило мне встретить ее взгляд, как я тут же почувствовал, что она заодно с ним, что все это так или иначе ее касается; что она на стороне Мореля. Помню, я подумал как дурак: «Эге-ге...», но в том была не столько ирония, сколько желание защититься от этой волны страсти в ее взгляде, волны, которая обрушилась на меня, подхватила и повлекла. Я, конечно, тогда и представления не имел, что происходит в ее красивой головке, – я говорю «тогда», хотя мы и сегодня не очень далеко в этом знании продвинулись. Твердо можно сказать одно: место там найдется всем – и вам, и мне, и стадам слонов, и даже многому другому, – даже тому, например, что еще не успело родиться. Но в ту минуту я, конечно, ни о чем не подозревал».

Он подбросил несколько веток в огонь, пламя вспыхнуло, приблизилось, потом снова успокоилось. Иезуит вглядывался в темноту.

– Но в конце концов, – продолжал Сен-Дени, – может, потому, что я так долго жил один, мне кажется, что главную роль тут сыграло одиночество. По-моему, этот субъект, этот Морель так нуждался в людях, ощущал возле себя такой провал, такую пустоту, что ему понадобились все стада Африки, чтобы ее заполнить, но, пожалуй, их тоже не хватило бы. Вы сами видите, отец, что он очень далеко зашел, но и вы, я уверен, считаете: это произошло только потому, что дорога им была выбрана неправильно.

Сен-Дени на секунду замолчал, чтобы вновь почувствовать тишину ночи, вглядеться в стада холмов, толпившихся в лунном свете у их ног.

– Люди, вероятно, поймали мой взгляд, потому что все головы обернулись к Минне, раздалась смешки и чей-то голос с иронией произнес: «А вы знаете, что Минна подписала?» Мне рассказали о петиции и о том, что она поставила под ней свою подпись. «Ну так давайте же выпьем», – предложил я ей. Она отказалась: некогда – ей надо следить за официантами, за проигрывателем. Она повернулась ко мне спиной и ушла. И у меня, уж не знаю почему, появилось дурацкое чувство, что я теряю ее навсегда. Она поставила новую пластинку: «Помни забытых людей» или что-то в этом роде. Но почти сразу вернулась и словно помимо своей воли села за наш столик. Ее явно интересовало то, о чем здесь говорят. Говорили же, естественно, о Мореле. Что у него больше нет ружейных припасов, не считая нескольких патронов, которые я ему дал, что он долго в лесу не протянет и сдастся. «Да, – добавил кто-то, – дело дрянь, и трудно сказать, чем ему помогут слоны». Вдруг мне стало невмоготу: вокруг царил атмосфера охоты за человеком и черт знает какого сведения счетов с самим собой, у себя в жалком углу. Особенно это чувствовалось в отношении Орсини. Он сидел за дальним столиком – по-моему, презирал меня, обвиняя с высоты двадцати веков самой что ни на есть белой цивилизации в том, что я «обуглился», – но его голос настигал с другого конца террасы, голос, за который на него даже нельзя было сердиться, – следовало принять наравне со всеми другими голосами ночи. Он говорил с журналистами, а те почтительно слушали – ведь как бы там ни было, это был первый, кто «сразу все понял». Он обличал «преступную нерадивость властей» и сетовал на «непоправимый ущерб, который нанесен белым в Африке». Говорил и о некоем пособничестве «высокопоставленных лиц» и тут про-

изнес по адресу Мореля примечательную, поистине полную прозорливости фразу. Своим пронзительным голосом, пылая от возмущения, – Боже, опять я о его голосе! – он вдруг воскликнул со странной интонацией, и торжествующей, и язвительной: «И не забудьте, господа, что мы говорили о том, кого вы зовете идеалистом!» Я никогда не слышал, чтобы ненависть так близко подходила к истине. Ведь каким-то невысказанным образом – злобным, причудливым, как сама эта мысль, Орсини, как мне кажется, попал в точку; голос его, словно колокол, зычно прогудел отходную по другому древнему стаду нескладных, трогательных гигантов, самозабвенно преданных идеалам человеческого достоинства, не говоря уже о терпимости, справедливости и свободе. И подумать только, что, потерпев одну неудачу за другой, пережив одно разочарование за другим, один из них, одержимый амоком и уже не зная, кому верить, очутился в Черной Африке, чтобы умереть рядом с последними слонами! В этом было что-то от отчаяния и поражения, за что Орсини не мог не зацепиться. Но он пошел еще дальше, гораздо дальше – до чего же вышло комично, я никогда не забуду его последней тирады как одной из лучших минут моей жизни: «И я вот что скажу вам, господа, вот что я вам скажу: он гуманист!»

Я чуть было не вскочил, чтобы пожать ему руку. На миг мне даже почудилось, что у него есть чувство юмора, особый дар обозначить одним словом надежды и отчаяние многих из нас. Но это было не так, совсем не так. Он просто определял своего врага, вот и все. Орсини не был способен на юмор, на эту любезность по отношению к противнику. То был человек, который, если ему было больно, попросту драл глотку».

Сен-Дени дернул головой:

– И все же одного я так до конца и не понял: почему с самого начала этой истории Орсини воспринимал ее как свою личную драму, словно то был для него вопрос жизни и смерти? Вы скажете, что он был прав, именно так и обстояло дело, он защищал себя и до самого конца, как он выражался, «не позволял водить за нос», но это же ничего не доказывает, ибо предчувствие того, что его ожидало, должно было, наоборот, заставить Орсини вести себя спокойно. А может, он объяснил свое поведение, воскликнув с глубочайшим убеждением: «Это же идеалист!» – но тогда пришлось бы считать дуэль, на которую он вызвал Мореля, совершенно бескорыстной и почти святой, ибо странное наваждение – будто все, что так или иначе связано с идеализмом, направлено против него лично, свидетельствует, несмотря ни на что, об искренней, мучительной одержимости. Я помню его последнюю фразу, брошенную с таким пафосом, будто она была обращена к одной из тех потусторонних сил, которые, как ему казалось, толпились вокруг и ему грозили и чье присутствие он ощущал во всех людских деяниях: «В противовес инертности властей, неспособных действовать из-за проникновения кое-кого в их ряды, найдется несколько старых, но решительных охотников, которые возьмут это дело в свои руки!» Я отошел подальше, чтобы не присутствовать, не слышать этого голоса, не находиться рядом с этой посредственностью, одержимой гигантоманией и в своем ничтожестве поносившей весь мир. То была одна из тех минут, когда вам нужен весь необъятный простор, доступный глазу на земле и в небе, чтобы не потерять веру в себя. Минута, когда нужно что-то большее, чем ты сам, когда тяжесть, само существование материи заставляют тебя мечтать о невозможной дружбе. Мне не терпелось выйти на воздух, снова увидеть мои звезды – ведь из них и создана наша древняя Африка, если правильно на нее посмотреть. – Сен-Дени поднял лицо к небу. Оно было повсюду, столь громадное, что казалось близким. – Прямо рукой подать, правда? – спросил он с таким душевным покоем, словно черпал из самого источника гармонии. – Мне было грустно, и с того вечера всякий раз, когда вспоминаю Орсини, я не чувствую к нему вражды, все больше его понимаю, и он как бы становится ближе. Я еще вижу его в белом костюме, со ртом, злобно сведенным каким-то тотальным всезнанием, – что на самом деле лишь подлая пронизательность, нельзя же назвать эту гримасу улыбкой, – до последнего вздоха отверга-

ющим всех, кто, подобно Морелю, пытается слишком громко и слишком явно восславить высокое звание человека, требуя от нас великодушия, которое найдет на земле место всем чудесам природы; да, я его еще вижу и, наверное, буду видеть всегда – глаза, горящие злобой, кулаки, воздетые над головой и доказывающие скорее бессилие кулака. Некультурный, едва умевший писать, что скрывал за невыносимой напыщенностью речи и готовыми фразами, он тем не менее первый понял Мореля и подлинную подоплеку всего, что случилось, а это ведь признак какого-то странного их родства. Может, оба они были одинаково глубоко и болезненно одержимы той же идеей, но один посвятил себя ей, а другой в жалком бешенстве боролся с ней. Может, обоих терзал один и тот же порыв, но они восставали против него с двух противоположных сторон и где-то, в одной точке, должны были встретиться. Впрочем, что я об этом знаю? В таком деле всякий может думать что хочет. Двери открыты, входите, с чем можете. Порой мне кажется, что Орсини не без отваги мелкой шавки защищал собственное ничтожество от слишком высокого представления о человеке, в котором ему не было места. Он был готов себя презирать, так как не заблуждался и на свой счет, но уж никак не допускал, чтобы более чем скромное мнение о себе лишало его места среди прочих людей. Наоборот. Он видел тут знак принадлежности. Изю всех сил тащил вниз на себя покрывало, другой конец которого Морель держал чересчур высоко, и пытался прикрыться им, всеми способами доказать, что он не изгой. В глубине души он должен был страдать от душераздирающей жажды братства.

Сен-Дени замолчал. Он, как видно, сам почувствовал противоречие между сочувствием, которое выдавали эти слова, и единственным видом братства, которого жаждал сам, – со звездами... Но он знал и то, что противоречия – плата за все истины о человеке. Он пожал плечами.

– Но я вам надоел с Орсини. Уверен, что вас он не интересуется, впрочем, это его удел, которым он не уставал возмущаться. Я знаю, что если давить на душу, как на тубик с зубной пастой, то в конце концов можно получить несколько капель чистоты. Что ж, оставим, если хотите, Орсини в покое. Ему неуютно на этой высоте. Так вот, я ушел с террасы и направился к выходу. Под дурацкой триумфальной аркой, которая его украшает, я вдруг почувствовал, что меня кто-то взял за руку. Я выругался: чернокожие девушки, а то и парни иногда приходят сюда предлагать свои услуги, наспех оказываемые тут же, между пустыми прилавками базара. Но это была Минна. «Можно с вами поговорить?» У меня не было особого желания с ней разговаривать. С тех пор как впервые ее увидел, я, приезжая в Форт-Лами, избегал с ней беседовать и даже слишком часто на нее смотреть. Живу один, в чаще, безо всяких воспоминаний, и мне вредно возвращаться в лес на девять месяцев, имея перед собой образ такой девушки. Тут вот скребет-скребет, до того, что уж думаешь: правильно ли ты прожил свою жизнь, не проворонил ли ее? Я ответил Минне, что да, с удовольствием! Надеюсь, вы оцените, какая у меня сильная натура? Я не робею перед опасностью.

XVI

– Она повела меня в свою комнату. Отель «Чадьен» построен в пышном стиле колониальной выставки 1937 года, и ее комната была на верхней площадке винтовой лестницы, в одной из двух башен, на которые опиралась триумфальная арка; я о ней упоминал. Должен отметить, что Минна убрала комнату с большим вкусом. Можно вообразить, как бы она обставила свой настоящий дом. Что ж...

«Сюда они никогда не приходят, – сказала она, – никогда». – Она смотрела на меня внимательно, даже с каким-то вызовом, явно готовясь защищаться или оправдываться, но я вовсе не желал обсуждать подобные вопросы – какое это имело значение? Помню, меня больше всего поразили рисунки, пришпиленные к стенам; они пробудили во мне смутные воспоминания детства и даже память о родителях. Да, подумал я, она права, что никого сюда не пускает. Это могло бы смутить клиентов, поумерить их пыл. Как видите, я был не слишком добродушно настроен. Я повернулся к этой высокой молодой женщине с шапкой светлых волос, к этой немке – что сразу бросалось в глаза – с очень бледным лицом и глазами – как бы это получше выразиться? – не имевшими со всем, что тут было, ничего общего. Мне вдруг захотелось спросить ее: да что же вы здесь делаете? Как вы сюда попали? Такой вопрос в Чаде можно задать многим, поэтому его никогда и не задают. Мне к тому же показалось, что она малость выпила. Глаза у нее блестели, веки слегка покраснели, лицо горело от возбуждения; она уже не сдерживалась, не скрывала своих чувств, как только что внизу, на террасе, на виду у посетителей. В ее манере не было и следа покорности, и она больше не куталась в шаль, словно та была ее единственной защитой, а высоко держала голову, чуть ли не с торжеством, да и с вызовом тоже. Не знаю почему, но меня вдруг охватила антипатия, нечто вроде физического отвращения. Она мерила комнату быстрыми шагами, двигалась резко, почти как автомат. Будто спешила. На столе стояла бутылка коньяка и один бокал. Я пристально поглядел на бутылку, но Минна с презрительной улыбкой покачала головой.

«Ах нет, – сказала она, – я не пьяна. Мне, конечно, случается выпить рюмку в собственном обществе. – По-французски она говорила не слишком хорошо. Акцент, во всяком случае, был очень заметный, она произносила «шара» вместо «жара», и в голосе ее не чувствовалось сдержанности, она говорила чересчур громко. – Но сегодня я чокнулась с тем, кого здесь нет».

Признаюсь, что и я совершил ту же ошибку, что и остальные. Было так легко обмануться, так удобно. Я немножко знал биографию этой девушки; вдобавок имел полное представление о том, что тогда происходило в Берлине, – война, взятый приступом город, вездеходы, развалины, трудное существование, а потом – мужчины, пользовавшиеся ею для своих маленьких надобностей. Поэтому я, кажется, должен был понимать, откуда ее симпатия к Морелю и к той борьбе, которую он ведет в защиту природы. Но я ошибся, как и все остальные, я тоже подумал о плохом, что проще всего объясняет поведение человека, и это не делает мне чести... Но тут-то и кроется дьявольская особенность всей этой истории. Полагал, что имеешь дело с другими, а оно было в тебе самом. Вот я и говорил себе, что раз эта девушка за свои двадцать три года навиделась всей грязи, которую может предложить человечество, стоит ему чуть-чуть постараться, значит, она должна чувствовать только злорадство, думая о том, что в глубине африканских джунглей бродит человек, объявивший нам партизанскую войну и переметнувшийся со всей своей амуницией и пожитками на сторону слонов. Я вдруг увидел, как эта... эта берлинка запирает на ключ дверь своей комнаты и произносит «прозит», поднимая бокал за здоровье такого же фанатика, как она сама, восставшего против общего врага. Ну да, тут просто ненависть, я представил себе все с такой быстротой, которая прежде всего свидетельствовала о моей слепоте. Как же я мог так ошибиться?

Тот, кто слушал Сен-Дени в тишине окружающих холмов, понимал по горечи его тона, что старый африканец этой ошибки никогда не забудет.

– Не знаю, сумею ли я толком вам объяснить. Я, без сомнения, был предубежден. Тут было нечто вроде инстинктивного недоверия к тем, кто чересчур много страдал. Ведь невольно раздражаешься при виде калек – они оскорбляют тебя своим видом. И думаешь, что люди, которые слишком пострадали, больше неспособны... быть твоими союзниками, а ведь в этом-то вся суть. Что им уже чужды доверчивость, оптимизм, радость, что их каким-то образом безвозвратно испортили. Они обозлены, их несчастьям, конечно, сочувствуешь, но и попрекаешь тем, что они пережили подобное. Немецкие теоретики расизма проповедовали истребление евреев отчасти и во имя этой идеи: евреев слишком много заставляли страдать, а поэтому они не могли стать ничем, кроме врагов рода человеческого. Вот какой была сначала моя реакция, правда, не лишённая жалости. Я искренне верил, что единственная связь между этой девушкой и Морелем – затаенная злоба и презрение к людям. Но ведь суть была, – как об этом говорят, а главное, пишут, – в человеческом сострадании, в доверии, доведенном до предела, до еще не исследованных глубин, в бунте против навязанного нам жестокого закона, – вот эту суть мне действительно трудно было постигнуть. И должен сказать, что она нам не помогала, – та девушка Минна.

«Я хотела вас поблагодарить, – сказала она с какой-то даже торжественностью в голосе, словно пытаюсь установить между нами официальные отношения. Ich wollte Ihnen danken, перевел я мысленно с невольным раздражением. Она закурила сигарету. – Я хотела поблагодарить вас за то, что вы ему помогли. Дали хинин, патроны и не выдали полиции. Вы, по крайней мере, все поняли».

– Да нет же, Господи спаси, ничего я не понял!» – В голосе Сен-Дени звучало насмешливое недовольство. Я же ровно ничего не понял, но повторяю, эта девушка вовсе не рассеяла моего недоумения. А знаете, что она сделала? Может, она что-то прочла в моем взгляде – трудно было отвести глаза... Она улыбнулась – и что самое удивительное, со слезами на глазах, клянусь вам, – улыбнулась и развязала пояс, а потом приоткрыла халат.

«Хотите? – спросила она. Она стояла передо мной, подбоченясь, в полураспахнутом халате и смотрела на меня, высоко подняв голову. Вот какое мнение было у нее о мужчинах, и она мне показывала, что я – не исключение. – Если хотите, – сказала она. – Для меня это ровно ничего не значит, не играет роли, никогда не играло и уже больше не пачкает. Но если это вам доставит удовольствие...»

Она опять улыбнулась, как больничная сиделка, сестра милосердия... Недаром говорят, будто после падения Берлина эти девицы стали сексуальными извращенками, истеричками.

Сен-Дени в бешенстве помотал головой.

– Поди-ка тут разберись. Надо было видеть это высокомерие, оно ведь так характерно для расы господ! «Для меня это ровно ничего не значит, не играет роли, никогда не играло... и уже больше не пачкает». Я и сейчас слышу, как она говорит, – спокойно, с оттенком торжества, словно никто никогда ее не топтал... Что она хотела сказать? Что подобные вещи вообще не могут замарать? Хотела ли она смыть с себя свое прошлое, вернуть хоть какую-то невинность? Прогнать воспоминания? Отвоевать обратно Берлин? Была ли просто девчонкой, которая хотела себя защитить, мужественно дралась, пыталась придать незначительность тому, что ее больше всего задело, больше всего истерзало? Во всяком случае, так она стояла передо мной в распахнутом халате и...

Сен-Дени судорожно сжал руки, словно хотел раздавить пустоту.

– ...Я ее не тронул. Из уважения к человеку; в конце концов, у каждого – свои слоны. Мне нельзя было потерять доверие к себе. Во всяком случае, такие оправдания я нахожу себе сегодня. Думаю, что был просто ошарашен и утратил всякую способность реагировать.

Короче говоря, я не провел незабываемую ночь в ее объятиях, не провел и пяти минут, которых хватает мужчине для полного счастья. Думаю, что взгляд мой выражал скорее жалость, потому что она довольно нервно запахнула халат и до краев наполнила свой бокал коньяком, как маленькая девочка, которая хочет показать, что умеет пить.

«Слишком много пьете», – сказал я. Вот и все, что я мог сделать, чтобы показать, насколько она мне безразлична. Она поставила бокал. И конечно, заплакала.

«Где он?»

Не знаю, что прозвучало в ее голосе, какая внезапная страсть, но помню, что подумал: везет же людям! Мне пятьдесят пять лет, но я много бы отдал, чтобы быть в этот миг на месте Мореля, вы уж поверьте: а его место было не за пятьсот километров отсюда, в гуще джунглей Уле, он жил в этом голосе. А она еще меня спрашивает, где он!

Сен-Дени возмущенно поглядел на иезуита, и отец Тассен одобрительно кивнул, показывая, что разделяет его недоумение.

– Мадемуазель, – сказал я, да простит мне Бог эту шпильку, – я знаю, что вы готовы побежать в чащу леса, чтобы взять Мореля за руку и попытаться спасти, но нельзя же терять голову. Должен вам признаться: я встретил его на опушке вовсе не случайно. Я перевернул небо и землю, чтобы узнать, где он находится, чтобы встретить его и попытаться урезонить. Мне это, как видите, не удалось. Минна, ничего не говоря, снова закурила и поглядела на меня своими серыми глазами, которые старательно скрывали, что она обо мне думает, – должно быть, она думала, что я жалкий дурень.

Иезуит отрицательно мотнул головой, словно желая вежливо выразить свое несогласие.

– Вот уже несколько недель, – продолжал я, – тамтамы в лесу говорят только о нем, а я последний из белых, кто понимает язык африканских барабанов. То, что они рассказывают, не предвещает ничего хорошего ни для Мореля, ни для мирной жизни в колонии, ни для местных племен. Рождалась легенда, и я понимал, что Морелю будет трудно не стать ее героем. Тамтамы говорили языком ненависти, и я клянусь – там не было и речи о слонах. Вот что я хотел объяснить Морелю. Объяснить, что его одурачат. Потому что, – говорю вам и могу повторить губернатору, – Морель уже не одинок, он попал в лапы к одному из тех политических агитаторов, которым мы привили в наших школах, в наших университетах, а главное, нашими высказываниями, предрассудками и поведением, словом, нашим примером все то дурное, чем давно страдаем сами: расизм, нелепый национализм, мечту о господстве, о могуществе, экспансии, политические страсти – словом, все.

Я слишком долго живу в Африке, чтобы и самому порой не мечтать об африканской автономии, о Соединенных Штатах Африки, но я бы хотел, чтобы раса, которую я люблю, избежала новой африканской Германии, новых черных Наполеонов, новых исламских Муссолини, новых Гитлеров с расизмом наоборот. А эти нотки мое натренированное ухо слышало в речах тамтамов. Вот почему я стремился, чего бы это ни стоило, встретиться с Морелем, хотя он и не по моему ведомству, то есть не в моем округе, – но в тебе либо сидит бюрократ, либо нет. В моем районе племена ведут себя безупречно, я за них отвечаю вот уже двадцать лет, и, клянусь, пока я там, никто не заявится их мутить. У меня еще есть такие углы, где туземцы до сих пор живут на деревьях, – и не я заставлю их оттуда слезть. Все, что я намерен сделать, – это сохранить несколько свободных веток для тех, кто выживет после атомного века. Я знаю, что начальство меня едва выносит; с нетерпением ждет, когда я умру от приступа желтухи. Знаю и то, что я человек отсталый, живой анахронизм, к тому же не очень умен и научился тут, в Африке, любить черных земледельцев, что никак не вяжется с «прогрессом». К тому же я наивно мечтаю, что Африка когда-нибудь получит независимость, выгодную для африканцев, но знаю, что между мусульманскими странами и СССР, между Востоком и Западом ведутся торги за африканскую душу. А эта африканская душа

такой замечательный рынок для нашей продукции! Попутно я больше верю в фетиши моих черных, чем в ту политическую и промышленную дешевку, которой их хотят завалить. Да, я, конечно, анахронизм, пережиток минувшей геологической эпохи, – кстати, как и слоны, раз о них зашла речь. По существу, я и сам – слон.

Вот кое-что из того, что я спешил сказать Морелю. Объяснить, какая недобросовестная компания его окружает, вечером перевести кое-что с языка тамтама, а главное, помешать слишком близко подойти к моей территории, и готов был вклепать хорошую свинцовую подачку ему в задницу, если он меня не поймет или будет упорствовать. Тем не менее я был убежден в его порядочности, у меня хороший нюх, и я в таких вещах разбираюсь.

Я понятия не имел, где он обретается, по той простой причине, что его якобы видели повсюду, на всех базарах. Любители почесать язык хвастали, что видели его на крылатом коне с огненным мечом в руке. Некоторые – всегда одни и те же – претендовали на роль его посланцев, передавая, будто от него, тревожные вести. Для создания мифа нет ничего лучше тамтама, мы в Европе слишком поздно это усвоили. В конце концов я послал моего слугу Н'Голу – он сын самого великого и, несомненно, последнего вождя идолопоклонников племени уле, которого я глубоко уважаю, – к отцу с просьбой о помощи. Двала – старый друг, великий чудотворец – может вызвать, когда требуется, дождь, воскресить кое-кого из мертвых, изгнать демонов, если они не очень давно в вас поселились и вы не зазвали их сами. Это замечательный человек, он сделал бы честь любой стране. Я был уверен, что он откликнется, и не ошибся.

Н'Гола вернулся через три дня, сказал, что отец просит меня прийти к нему.

И я отправился к Двале.

XVII

– Он меня принял в полутьме своей хижины – маленький, старый, морщинистый, – где сидел, скрестив ноги и закрыв глаза. Лицо и туловище были раскрашены синей, желтой и красной красками. Из этого я понял, что он вернулся с магической церемонии. Вид у него был совершенно измученный. Н’Гола рассказал, что он воскресил маленькую девочку.

Сен-Дени прервал свою речь, сжал губы и глянул на иезуита с досадой.

– По-моему, отец, вы улыбнулись. Дело ваше, вы – не первый, кому не хватает воображения; можете считать меня простачком и шепнуть потом кому-нибудь из моих молодых коллег, что Сен-Дени совсем свихнулся из-за того, что столько лет живет среди черных, перенял их суеверия; к тому же он старый ретроград, мешающий проникновению современных понятий в те области, которыми ведает. Но должен сообщить, что Двала воскресил меня самого, когда я уже довольно долго – два часа – был мертв от злокачественной лихорадки. Он сказал, что ему пришлось сделать чудовищное усилие, чтобы заставить меня вернуться, потому что я был уже далеко, и я не вижу в этом ничего необычайного. У них – свои секреты, у нас – свои, а я верю в Африку.

Иезуит одобрительно кивнул.

– Во всяком случае, эта девушка, Минна, слушала меня очень внимательно и не думала улыбаться. Казалось, что она даже очень ко мне расположена. Она села на ручку кресла, положила ногу на ногу, и у меня возникло желание рассказать ей все, всю мою жизнь, все, что я видел. Но пока что я мог говорить с ней только о Мореле. В противном случае у меня не было бы повода тут находиться. Может, потом она захочет расспросить и обо мне. Вид у нее был заинтересованный и благодушный. Она не сводила взгляда с моего лица, нервно куря одну сигарету за другой. Меня это даже слегка волновало. Пусть ты старый бородач, внимание молодой женщины тебе все равно безразлично. А я чувствовал ее доверие к себе. К примеру, когда она делала резковатый жест и халат у нее распахивался, приоткрывая ноги, она не обращала на это внимания, да и я старался туда не смотреть и продолжал говорить. Я рассказал ей, что говорил Двала, как он меня слушал, рассеянно глядя из-под полуоткрытых век, бессильно уронив руки; казалось, он даже не дышит. Я не был уверен, слышит ли он меня вообще. Может, он уже отправился на поиски Мореля, в мысленный тысячекилометровый пробег по джунглям. Это был маленький, но энергичный и подвижный человек, буйно жестикулирующий и вечно чем-то занятый. Ключья седых волос на черепе и подбородке придавали ему взъерошенный вид. Похоже, сегодня он был явно не в своей тарелке. И тем не менее я продолжал говорить на случай, если он все же меня услышит.

Долго объяснять не пришлось.

Мы были знакомы давно и доверяли друг другу. Нас объединяла любовь к африканской земле, к нашим племенам, привязанность к их верованиям и традициям и желание обеспечить им мирную жизнь. Общей у нас была и неприязнь к цивилизации и ее ядовитым испарениям. Единственное между нами отличие состояло в том, что я трезво сознавал гибель, грозившую патриархальному укладу, а Двала ее только смутно предчувствовал. Я ему часто об этом говорил, но мне было трудно описать весь ужас того, что мы называем техническим прогрессом. На языке уле нет столь крепких слов, чтобы выразить нечто подобное. Нет терминов, соответствующих нашим техническим терминам, нашим все новым и новым изобретениям, и мне приходилось прибегать к привычным образам, которые всегда имеют магический смысл, для объяснения того, что напрочь лишено какой бы то ни было магии. Поэтому я в нескольких словах попросил его мне помочь. Он не поднимал век, но я произнес имя Вайтари, и он сразу оживился. Он открыл глаза, голова у него задрожала, он стал гневно сыпать слова и то и дело трясти кулаками. «Вайтари – предатель», – сказал он, употребив

слово «чуанга-ала», которое буквально означает «тот, кто меняет племя и ведет новое племя против того, из которого вышел»; наши западные племена окрестили бы такого человека «Квислингом». Он кричал, что Вайтари больше не уле и что, когда приходит в деревни, он приносит понятия белых, понятия чужеземцев. Он хочет отменить власть старейшин в племенных советах, уничтожить святилища идолопоклонников, запретить магические церемонии, требует наказывать родителей, которые еще практикуют клиторидектомию своих дочерей, – отравляет умы крестьян идеями, которых набрался у французов. Но главное – не дает спать белым. Он их грубо будит, внушает всякие страхи. Белые взбудоражатся, захотят перемен в Африке, чтобы дать ей новое обличье, покончить с прошлым. Мой старый друг дрожал от ярости, он поднял вверх кулаки, магические полосы на теле – желтые, красные и синие – покрылись потом и потускнели. Он явно вернулся на землю, не осталось и следа от усталости или отрешенности, он был с нами. «Что же делают французы? – стонал он. – Почему они дают волю таким Вайтари? Почему они их поощряют, ведут с ними переговоры? Разве они не обещали уважать племена, их обычаи и богов их предков?»

Я ему сказал, что власти больше не доверяют Вайтари, что он присоединился к Морелю и с ним партизанит. Он искусно пользуется Морелем, чтобы разжечь беспорядки. Я попытался перевести разговор на Мореля. Но он слушал меня с нетерпением. Интересовал его Вайтари. По-моему, он так ничего и не понял в истории с Морелем. Для него это все еще была междоусобица белых. Когда я попытался объяснить суть дела, он меня прервал: «Наш народ всегда охотился на слонов. Это хорошая пища». Но я наконец втолковал ему, какую выгоду его приятель Вайтари может извлечь из Мореля, – старик ведь не хуже меня знает, о чем болтают на базарах и что предвещают вооруженные нападения на плантации. Я был уверен, что ему каждый день подробно сообщают о передвижениях шайки. Он терпеть не может Вайтари, но наверняка старается сохранить с ним хорошие отношения: кто знает, что сулит нам будущее? А может, завтра Вайтари получит слово на совещаниях у французов? В мысли французов проникнуть нельзя, и если Вайтари до сих пор не повесили, значит, французы способны на что угодно. «А ремесло колдуна разве не требует вежливого обращения с демонами, – сказал я с улыбкой, – чтобы они не застали его врасплох?»

На лице моего старого друга появилось нечто вроде усмешки – словно отражение большого опыта, и не только в области магии, – у нас эту усмешку назвали бы циничной, но мы были очень далеки от «нас». Мы понимали друг друга с полуслова: вот уже двадцать лет как мы играем в прятки. Я сказал, что не сомневаюсь относительно его подлинного отношения к Вайтари, оно очень близко к тому, что чувствую я, но все же уверен, что он поддерживает с ним постоянную связь; он ведь наверняка посылает ему просо и кур? Быть может, он даже пополнил одним или двумя деревенскими парнями маленькую группу, сопровождающую Вайтари и Мореля? Левый глаз Двалы наполовину закрылся – это было признание, – потом он, помолчав несколько минут, отдал дань нашей старой, нерушимой дружбе. Заверил меня в своей ненависти к Вайтари, на которого не раз напускал порчу; к сожалению, тот был нечестивец и проклятия на него не действовали. Однако Двала и правда отправил в отряд Вайтари, чтобы получше за тем наблюдать, деревенского парнишку, постоянную связь с которым поддерживает его собственный сын. Он посоветовал мне вернуться восвояси и ждать. Его сын Н'Гола знает все дороги, – добавил он; я расценил слова Двалы как твердое обещание помочь.

Вот каким образом восемь дней спустя мы с Н'Голой очутились где-то у подступов к Галангале, в горах Бонго.

Я знал этот район – несколько лет назад имел там дело с бандитами-крейхами, которые в ту пору, да и по сей день совершают набеги с территории английского Судана, бьют в заповедниках слонов и уносят слоновую кость.

Я не ожидал встретить там Мореля. По последним сведениям, он действовал гораздо южнее; его видели во время нападения на плантацию Колба. И если он мог передвигаться с такой легкостью и быстротой по району, где было немало деревень, значит, Вайтари еще пользовался большим влиянием. Впервые мне показалось, что бывший депутат племени уле вовсе не водит Мореля за нос, как полагают, но что у Мореля с ним какие-то общие интересы.

Признаюсь, я шел на это свидание с большим интересом и даже с некоторым трепетом. Я старался представить себе, какое у Мореля лицо. У меня была острая потребность увидеть его, – потребность, которая объясняла больше, чем какие бы то ни было другие соображения, те усилия, которые я приложил, чтобы с ним встретиться. Нельзя прожить всю жизнь в Африке и не испытывать к слонам чувства, очень похожего на любовь. Всякий раз, когда их встречаешь в саванне и видишь, как они мотают своими хоботами и хлопают большими ушами, невольно улыбаешься. Сама их величина, неуклюжесть, колоссальные размеры представляют собою как бы массу свободы, о которой можно только мечтать. В сущности, это последние индивидуальности. Добавьте к этому, что все мы – в той или иной мере – мизантропы и что поступок Мореля затронул во мне весьма чувствительную струну. Вот о чем я размышлял, пока Н'Гола, съехав с дороги, два дня водил мою лошадь по затерянным тропам в горах Бонго. На третий день утром, когда мы медленно пробирались по колючему подлеску среди вулканических скал Галангале, из чащи появился негр и схватил мою лошадь за узду. Мы приехали.

XVIII

– Морель вышел ко мне в прогалину, окруженную скалами, один, но мне достаточно было поднять голову, чтобы увидеть у водопада группу вооруженных людей с лошадьми. Он шел быстро, прокладывая себе дорогу в высокой, по грудь траве: непокрытая голова, ружье на перевязи, опущенное дулом к земле; решительно направился ко мне с почти угрожающим видом, что сразу вызвало у меня раздражение, хотя у вас наверняка бы – только улыбку; вы ведь принадлежите к сообществу, знаменитому тем, что оно не обманывается внешним видом, за который мы стараемся скрыться. Должен признаться, что меня с первого взгляда поразила невзрачность этого человека. Может, потому, что небо, простиравшееся над нагроможденными на протяжении веков базальтовыми скалами, было безбрежным и тревожным, что требовало совсем других пропорций. А главное, я, помимо воли, увлекся созданной вокруг него легендой. В глубине души я ждал встречи с героем. С кем-то выше обычных людей, если вы понимаете, что я хочу сказать. А вместо того передо мной стоял совершенно обычный, крепко сложенный человек с упрямым и хмурым лицом под спутанными, слипшимися от пота волосами; давно не бритые щеки заросли щетиной – весь его вид выражал силу, даже грубую силу. Но глаза были удивительные – большие, темные, яростные, они буквально выпирали из орбит от негодования. Было в этом человеке что-то простонародное, какое-то простодушное, проявившееся в той серьезности, с какой он относился к тому, что делает. Он произвел на меня впечатление одного из тех, о ком все сказано словом «борец». Добавьте к тому набитый бумагами кожаный портфель, который он сжимал в руках. Не знаю почему, но этот портфель показался мне особенно смешным, вероятно, потому, что был бы уместнее в зале заседаний где-нибудь в Женеве или на профсоюзном собрании в предместье Парижа, чем в диких зарослях Галангале. Потом я понял, в чем именно дело: он явился на переговоры с врагом и принес всю документацию. Я чуть было не расхохотался, но что-то в этом человеке вынуждало его щадить. Может, явное отсутствие чувства юмора: мне часто казалось, что чрезмерная серьезность делает человека больным и тебе хочется помочь ему перейти улицу. Вот так я и описал его Минне, невольно подчеркивая смешные стороны – хитришь где можешь. Она улыбнулась, и я поначалу имел неосторожность принять эту улыбку за дань моему остроумию. Но ошибся. Я тут же понял, что ее улыбка выражала нежность и что образ, нарисованный мною, ей очень нравится. В улыбке был даже оттенок превосходства, снисхождения, она словно показывает, что есть нечто, чего мне не понять, та интимная, тайная область, куда проникнуть не дозволено. Вам знакомо это выражение лица, которым так больно умеет иногда уколоть женщина? Вы ощущаете себя отринутым, оставленным за порогом. – Иезуит жестом показал, что да, знакомо. – Так как я, сбитый с толку, замолчал, она нетерпеливо заставила меня продолжать: «Что он вам сказал?» Я объяснил ей не без раздражения, что заговорил первым. Начал с того, что спросил его: не пошел ли он в партизаны, чтобы служить делу африканского национализма? Правда ли то, что он призывает племена к восстанию? Я сказал ему, что знаю Вайтари и цели, которые тот преследует. Я спросил и о том, не хочет ли он, чтобы белых выгнали из Африки, и, наконец, какое отношение к этому имеют слоны. Он слушал меня нетерпеливо, с явной досадой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.